

3'2009
ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ

Литературная Армения

Издается с декабря 1958 года

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Союза писателей Армении и Союза армян России

Նայասրանի գրողների միության և Ռուսասրանի հայերի միության
գրական-գեղարվեստական և հասարակական-քաղաքական հանդես

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

- Аревшат Явагян.* Из книги "Слово и цвет". Стихи.
Перевод Г.Баренца..... 3
- Тригор Джаникян.* Время возвращения. Эпистолярная
повесть. Перевод Дж.Мирзоян..... 8
- Эдвард Милитонян.* Кшиштоф Пендерецки. Стихи.
Перевод А.Налбандяна..... 64
- Нелли Шахназарян.* Месть старого таракана. Призрак.
Рассказы. Перевод С.Авакян..... 70
- Татюл Болорчян.* Образ грядущей весны. Стихи.
Перевод Г.Баренца..... 80
- Эдуард Хачикян.* Незванный гость. Вопреки смерти.
Рассказы. Перевод Л.Захарян..... 84

<i>Якоп Мовсес. Глашатай света. Стихи. Перевод</i>	
Г.Кубатьяна.....	90
<i>Севак Арамаз. Смерть матери. Отрывок из романа.</i>	
Перевод Г.Кубатьяна.....	95
<i>Наира Амбарцумян. Упрямые слова. Стихи. Перевод</i>	
Г.Баренца.....	102
<i>Татьяна Мартиросян. Антиопума. Рассказ.....</i>	106
<i>Лилит Каранетян. Дом и человек. Рассказ. Перевод</i>	
А.Татевосян	118

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Петр Алешковский. Семьсот лет одиночества</i>	120
<i>Виктор Баженов. Сергей Параджанов. Встречи</i>	150
<i>Ара Балиосян. О жизни, о литературе. Перевод с</i>	
английского А.Акопяна.....	174
<i>Саануш Базян. Воин, певец, переводчик</i>	181
<i>Диаспора в лицах</i>	
<i>Игорь Лайзан. Три дома Александра Героняна</i>	186

Журнал издается при поддержке государства

Альберт НАЛБАНДЯН

Главный редактор

Сергей МУРАДЯН

Заместитель главного редактора

Жанна ШАХНАЗАРЯН

Отдел прозы

Ирина МАРКАРЯН

Отдел очерка и публицистики

Аревшат Авакян

Перевел Гурген Баренц

Из книги «Слово и цвет»

АРМЯНСКИЙ ДУХ

В моем внутреннем мире
Открываются и закрываются все двери пространства,
Все окна бездны
Настежь открыты перед жизненным трепетом
Света мерцающих звезд.

Подобно преходящей жизни,
Меня обходят
Со всех сторон
Приходящие и уходящие дороги.
Остаешься лишь ты —
Как утвержденная история,
Как вера, которая дышит
В глубине моей сущности,
Подобно живому присутствию,
И свою первозданную чистоту
Передает грядущему.

СТРАНА АРМЯНСКАЯ

Во всех направленьях твоих нагорий,
Подобно сторожевым воинам,

Стоят твои сторожевые камни,
Твои ласточки разрезают небо.

Через проникновенья земли и неба
Проходит духовная жизнь народа —
По венам земли и крови.

Каждый армянин —
Движущийся обелиск
На твоей священной земле.

ТАНЕЦ

Танец — разновидность света,
Который движется по человеческому телу,
Как чистейшая речь.

Вошедшие в ноги и руки
Цвета и линии
Становятся подвижными образами.

В нежно скользящих движениях
Руки порхают
В небе невидимых звуков.

Невысказанные слова приходят
Вслед за молчанием,
Становятся более ясными и гибкими,
Более четкими.

Бессловесные переживания
В объятиях звуков
Из нематериального трепета
Вдыхают жизнь
В песню, обретшую тело.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

С утра до вечера, обходя все дома,
Считают все — от мала до велика.

Считают отцов и матерей,
Считают их законных
И незаконных детей,
Считают судей
И заодно преступников,
Покупателей и продавцов,
Квартиросъемщиков и бездомных,
Новорожденных и умирающих.

И не смотрят — умный ли, глупый ли,
За людей считают бессердечных,
Потерявших и совесть и душу,
Всех пересчитывают и скопом
Заносят в журнал регистрации.

СТРАНА ЧУДЕС

Ты — небольшая страна,
Но граница твоих мечтаний
Не кончается в пристанище бесконечности.

С твоих каменных куполов
Вонзаются в небо кресты,
Твое сердце всегда окружено
Жизненным трепетом веры.

Дух бессмертных твоих героев
Днем и ночью порхает
Перед сменой твоих поколений,
Хотя какая-то откровенно противостоящая
И замаскировавшаяся предательская сила
Всегда препятствует твоему прогрессу
И тянет назад.

НЕСЛЫШИМЫЙ ГОЛОС

Из невидимого убежища
Кто-то неслышно, без усталости
Говорит от имени молчанья.

Голоса не слышно,
Но отчетливо слышится эхо
В нашем внутреннем мире.

Что говорит?
Для кого тянет нить
Чьей-то таинственной тайны,
На одном из концов которой
Прячется речь молчанья?

ВЫБОРЫ

Кого интересует мнение общества,
Сказанное всеми “да”
Или, допустим, “нет”
С их прозрачной, раскрытой реальностью,
Сфабрикованные “да”
И выявленные “нет”?

Кому нужны сомнения,
Вредоносная польза документов,
Болезненная дотошность,
Формулировка подлога,
Печальный силуэт неравноправия,
Истина, которой забросали
Избирательные урны,
И ложь,
Которую из них достают?

НЕДОБРЫЕ И ДОБРЫЕ СЛОВА

Добрые слова зарождаются в нашей мысли,
Набухают, как почки,
И расцветают на наших губах,
Словно любовь и молитва.

Недобрые слова
Зарождаются в недрах
Завистливых, желчных чувств,

И вместе с пронзающими,
Излечивающими словами,
Появляются на свет
Из глубин внутреннего мира.

Недобрые и добрые слова
Обитают в нашей сущности,
Рождаются из наших раздумий,
И на свет появляются
На нашем языке и на губах,
И красками и линиями слова
Рисуют образ нашей сущности.

ПАРАДОКСЫ

Печальный факт:
Из пустого кармана
Ни при каких обстоятельствах
Ни единого гроша не пропадает.

Вы, конечно же, знаете,
Что из высохших родников
Вырывается жажда.

И голос молчанья
Становится более слышимым
В часы ожидания.



Григор Джаникян

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Эпистолярная повесть

Перевод Дж. Мирзоян

*Если не ведаешь, куда путь
держишь, оглянись и узнай,
кто и откуда ты.*

КОНЕЦ В НАЧАЛЕ

Дорогая мама, минуло уже двадцать лет с той поры, когда случилось самое тяжелое и непоправимое в моей жизни — твоя смерть. Но я и поныне помню и никогда не забуду обращенный на меня последний твой взгляд. Ты была маленькой девочкой, когда твою родню насильственно выдворяли из Западной Армении, и ты не знала, откуда ты родом. Читая Варужана, утверждала, что ты из села Багрник, Мецаренц уносил тебя в долины Бинкяна, Мндзури — к лесистым склонам Армтана.

Лишь на смертном одре мысль твоя прояснилась.

— Истомилась я, сынок, — пробормотала, — не дай мне умереть от жажды. Пойди и быстро принеси стакан холодной воды из родников нашего Акна, попью, успокоюсь, а после можно и душу Богу отдать.

Я, чтоб не разрыдаться в твоём присутствии, выскочил на улицу, ты же подумала, что отправился в Акн за водой. Когда воз-

вратился, тебя уже не застал в живых, но глаза были открыты, они все еще смотрели на дверь. Макруи майрик в последний миг кое-как удалось закрыть тебе глаза, но разве могло быть мне это утешением?..

Спустя двадцать лет я исполняю твою волю, мама, последнее твое желание, что свято для любого армянина, сына своей матери. Я дал клятву проехать путь, что тянется от Акна к Дейр-эз-Зору. Ты прошла его пешком, прошла девяносто лет назад, когда тебе и пяти лет не было. На этом пути я буду искать тебя, моего деда, Варужана, Сиаманто, моих тетушек, Зограба, Севака... страшно и представить полтора миллиона невинно замученных и не погребенных.

Самого себя.

Ани

24 авг., 05

Откуда начинается Армения и где она кончается? Станный вопрос, конечно на границе. На какой границе? Миновав таможенную Ашоцка, въезжаем в Грузию. Едем по Джавахетскому нагорью. Следуют одно за другим армянские поселения: Гандза, Карцах, Картика, Сульфис, Мец Памач, Покр Памач, Хак, Норшен... Итак, откуда начинается Армения и где она, как это ни звучит странно, кончается? На границе, конечно. На какой? Пройдя через таможенную Вале, въезжаем в Турцию. Мы на Карсском нагорье. Следуют одно за другим армянские поселения: Агарак, Байбурд, Буланых, Ениджа, Кармир Ванк, Керс, Караванк, Урут. Ничего не поделаешь, теперь почти все эти названия звучат на чужой лад. Не ирония ли, не загадка ли национальной судьбы, что сидящий рядом со мной ванец Грант родился в Ираке и живет теперь в Соединенных Штатах; Арутюн из Атрпатакана родился в Тавризе, живет в Австралии; что киликиец Мкртыч после долгих скитаний по миру (поменял аж семь стран) в конце концов очутился в Канаде, сам не знает, как и почему. И единственное, что может нас утешить — это наше паломничество на землю обетованную.

Бледный, чахоточный диск луны, похожий на запятую, словно придя в замешательство от нашего внезапного появления, то и дело прячется за облаками, погружая нас в непроглядную тьму. Вокруг черным-черно, не видно ничего, только чувствую, как бьется сердце.

— Никак мы уже в Западной Армении!..

— Давно...

Набрасываюсь на водителя, нашего доброго, дружелюбного Максима. Максим четыре года провоевал на Арцахском фронте, освободил Арцах.

— Почему ты не останавливаешься?

Он смотрит на меня и тут же тормозит. Выхожу из машины, ноги будто приросли к земле. Стараюсь справиться с волнением. Едва сделав несколько шагов, готовый рухнуть, широко раскрываю руки. Хочу обнять всю Западную Армению. Не могу. Разве не по этой земле скорбели, роняя горькую слезу, не о ней горевали наши старики-норарабкирцы? Однажды некий французский армянин, родом из Вана, которому посчастливилось побывать на своей исторической родине, решил на обратном пути повидаться с земляками и пришел в наш квартал. В нагрудном кармане у него, в бережно сложенном платке, хранилась горсточка земли. Он достал платок, подошел к старикам, рассевающимся под тутовым деревом, и, выбрав самого старшего по возрасту — деда Ваана, отдал ему. Старик все глядел и глядел на эту горстку, что лежала у него на ладони, и вдруг неожиданно отправил ее в рот и, не разжевывая, проглотил. И с тоски заплакал навзрыд...

Едва переступил я порог карсской гостиницы, как в глаза мне бросился с противоположной стены горельеф с изображением Кемалю Ататюрка. Особым образом смонтированные осветители создавали видимость его присутствия рядом: куда ни повернешься — он пристально смотрит на тебя. Этажи изобиловали настенными росписями, рекламировавшими наиболее известную достопримечательность края — развалины Ани (турки называют “Ани харабалары”). Так они привлекают внимание иностранцев, богатеют, рекламируя наши исторические памятники. В фойе гостиницы было полно туристов: чехов, словаков, евреев, американцев и даже японцев. Смотреть достопримечательности они отправятся завтра на рассвете, а пока, чтобы составить представление о стране, листают путеводители. Наверняка никакого представления у них и не может сложиться. В этих изданиях нет ни намека, беглого хотя бы объяснения, кто, когда и почему воздвиг христианские храмы в мусульманской стране. К тому же не один, не два и не три, а, согласно преданию, — тысяча и один.

Всю ночь напролет я беседовал с царем Ашотом Милосердным. После долгих раздумий мы наконец решились на переселение из Карса в Ани (был 961 год) и объявили Ани стольным градом Армении. Расположенная на крутом холме крепость была защищена с трех сторон глубокими, как бездна, ущельями. Цитадель сделалась вполне неприступной, когда мы с четвертой сторо-

ны построили “Ашотовы” городские стены — Ашоташен. После него на трон поднялся царь Смбат Второй. Не удовлетворяясь одной, он построил вторую линию оборонительных стен — Смбаташен. Стена Смбата тянулась вдоль Цахкацадзора, Игадзора вплоть до Гайладзора. На смену Смбату пришел Гагик Первый. При нем были воздвигнуты кафедральный собор, церковь Аbugамренц и другие подобные Звартноцу храмы. Когда же на трон поднялся...

Карсское плоскогорье славится тучной, щедрой землей. Она такая же плодородная, как и земля Ширакской равнины. Наверное, во времена оно их разделяла река Ахурян. Вплоть до Ани, по обе стороны ровного шоссе тянутся пшеничные поля, нивы, пастбища с отарами овец. Попадают также и курдские деревни: они расположены вразброс и напоминают наши вырытые в земле жилища прошлого века. Турецкие власти всячески замалчивали, утаивали национальную принадлежность Ани и, пытаясь предотвратить возможность выявления тщательно скрываемой правды, прибегли к тактике самообороны. На подступах к Ани, около деревни Очаклы — дома здесь словно ползут на брюхе — стоит памятник. Построен он недавно в память “невинных жертв армянских разбойничьих банд”, сотен тысяч беззащитных турок, трупы которых якобы разбросаны по окрестным долинам. Мы еще увидим много подобных памятников: и в Карсе, и в Игдире, и в Сарикамыше. Интересная она страна, Турция. Жертвы живы, преуспевают, а разбойничьи банды исчезли, нет их.

Стою в оцепенении перед воротами Ани. Впервые ощущаю я державную мощь Армении, преисполнен чувства национального достоинства, гордости. Взгляд мой медленно скользит вверх по двухъярусной башне, по гербу с изображением пантеры, все выше и выше... И наконец, глаза мои задерживаются на ожерелье острых зубцов на самой верхушке, где развевается турецкий флаг. Он довлеет над крепостными воротами и умалывает, как мне кажется, их величие.

Мать и дочь Анаит и Карине Аракеляны, опустившись на колени, молятся. Они молились всю дорогу. Отец и сын Токмаджяны — скульпторы Левон и Айк, торопливо делают наброски... Я же с усердием, достойным первых христиан, переходя из церкви в церковь, зажигаю свечи, курю ладаном. И лежащий в руинах Ани воскресает, озаряется, наполняется жизнью под тихое бормотание “Отче наш”.

На противоположном берегу реки нас, наверное, заметили. Приветствуют, машут руками. И я тоже, было время, стоя на том берегу, с тоской и болью вглядывался в развалины Ани. Я

приезжал туда и с Варужаном Карапетяном^{*}, когда он вышел из французской тюрьмы на волю. Он долго, очень долго молчал, вперившись взглядом вот в эти самые руины, и наконец не выдержал, спросил:

- Думаешь, из-за чего я провел восемнадцать лет в тюрьме?
- Из-за чего?
- Не мог я пережить позор пленения Арарата, Ани. Но...

Наши историографы, быть может, несколько сгущают краски, когда рассказывают и описывают, как расправлялся с жителями Ани Алп-Арслан после взятия города. Сея вокруг страх и ужас, он распорядился рассечь тела людей, наполнить их кровью бассейн и искупался в нем. Да что бассейн, хоть всю реку Ахурян залил бы кровью армян, но как можно было бросить такую столицу, как Ани, и бежать сломя голову в Крым, Молдову, вплоть до Польши? Не зря скорбел Хачатур Абовян в своих баяти:

*Ани, Ани! О, если б рок
Твоих убийц убить помог!
Бессилен наш надгробный плач, –
Тебя народ не уберег.*

Х.Абовян (перевод О.Румера)

Двое пацанов издали наблюдают за нами. Услышав, что я говорю по-турецки, подходят к нам:

- Эфенди^{**}, мы охраняем эти памятники, ухаживаем за ними.
- Молодцы.
- Вчера в кафедральном соборе я нашел вот эту монету.
- А я этот крест...

Крест слегка почернел, покрылся патиной.

- Продаете?
- Продадим, эфенди.
- За сколько?
- Отдадим за десять долларов.

Засомневавшись, спрашиваю:

- А за пять?
- Согласны и за пять.

^{*} Боец Армянской освободительной секретной армии АСАЛА. Из-за акта в аэропорту Орли (1983 г.) восемнадцать лет провел во французских тюрьмах.

^{**} Эфенди – господин (тур.).

У ворот останавливается машина, из нее выходит дама благородной наружности, следом появляются парни, вооруженные кирками и лопатами. Завидев их, пацаны исчезают.

— Не верьте разного рода фальсификаторам, — говорит женщина, приближаясь к нам. — Они сами изготавливают и затем закапывают в землю эти вещи, чтобы придать им старинный вид и продать наивным туристам.

Сердце у меня защемило. Турки уже ведут раскопки в нашем Ани...

*Плачет Ани —
Город плачет,
И никто ему не скажет:
Ани, Ани, ты не стони...
(перевод подстрочный)*

— А вы, наверное, ведете здесь археологические раскопки?

— Пытаемся, — сдержанно и, как мне кажется, с некоторой осмотрительностью отвечает дама.

И я проникаюсь к ней расположением, радуюсь встрече с доброжелательным человеком. Понадеявшись на свой запас знаний турецкого, чем я обязан моей бабушке, спрашиваю: фундаментом чего являются так тщательно расчищаемые ими рвы? Может, дворцовых палат или патриарших покоев? Нет, чувствую, что с трудом припоминаю нужные слова. Дама замечает мое смущение и перебивает меня:

— Простите, но ваше любопытство так заразительно... Полюбопытствую и я. Откуда вы?

— Армянин я, живу в Армении.

— Я армянка и живу во Франции.

Так, значит, мы добрались до Ани из Еревана и Парижа, чтоб разговаривать друг с другом на турецком? Бог ты мой, сколько же армян на свете и как это случается, что все мы хорошо знакомы друг с другом, если даже никогда не встречались! Ани архитектор, жена писателя и литературоведа Григора Плтяна, сестра Арпи Тотоян, неутомимого редактора парижской газеты "Арач". Таких подробностей о себе Ани не сообщает. Подробности эти давно мне известны. Она вообще ничего не рассказывает о себе. И когда я, вспомнив голубые пляжи французской Ривьеры — Ниццу, Монако, — хочу попытаться, как ей удалось в эту летнюю знойную пору добраться до Ани, чтобы произвести, по ее выражению, уборочные работы, она отвечает мне с особенной почтительностью:

— Профессор Жан-Пьер Майе* предпринял, профессор Жан-Пьер Майе организовал.

Но это уже другая история. Если наши требования, думаю я, неуместны и лишены справедливости, тогда как объяснить приверженность чистосердечных и честных иностранцев к нашему делу? И что заставляет молоденькую турчанку, студентку Еоглен Яиаджиоглы, примкнувшую к группе армянских археологов, презрев палящее солнце, делать эскизы скульптурных фигурок, найденных при раскопках?

Ани, помнится, я не сказал тебе “до свиданья”. Увлекся беседой с Еоглен, и мы расстались, не попрощавшись. Кто знает, когда и где мы еще встретимся, куда позовет нас тоска по нашим предкам: твоим кюринцам** и моим акнцам.

По всей территории, где ведутся раскопки, пошли слухи о моем знании турецкого. Продавший нам билеты смотритель, он же и сторож, машет мне рукой и во весь голос:

— Ашота знаешь?

— В Армении живет тысяча Ашотов...

— Он живет в-о-он в том городе, что напротив, в Гюмри.

— Откуда ты его знаешь?

— В молодые годы я работал дальнобойщиком, ездил в Гюмри с грузом и как-то случайно встретился с ним в дороге. Он узнал, что я из Карса, пригласил меня к себе домой. Пожил я у него три дня. Приветил как пашу. Вечерами собирались у него соседи, расспрашивали о жизни в Карсе. Я рассказывал, они плакали. Так мы подружились, и если случалась оказия, обменивались весточками, подарками. Но вот уже семнадцать лет, как не имею вестей от него.

— Семнадцать лет назад в Гюмри случилось землетрясение, — говорю ему. Сторож смотрит в упор на меня, качает головой:

— Такой хороший человек, как Ашот, не может погибнуть...

Группа собралась, и мы должны ехать; я поворачиваюсь лицом к Масису. Дымятся кольца, гаснут свечи. Монастыри кажутся мне еще более покинутыми и одинокими, чем в момент нашего прибытия.

— Если у тебя душа такая добрая, — обращаюсь я к старому смотрителю, — возьми эти свечи и ежедневно зажигай по одной в кафедральном соборе... до моего приезда.

* *Арменовед, почетный член Академии наук Армении.*

** *Кюрин — город в Себастии (Западная Армения).*

— Обещаю, — забирает он у меня связку.

Предлагаю ему деньги, отказывается:

— И не стыдно?..

Не знаю, стыдно или нет, но уже в автобусе меня одолевает сомнение: исполнит ли он обещание? Я-то свое исполню, непременно вернусь в Ани.

Непременно.

Карс

25 авг., 05

В предзвездных сумерках с высокого холма спускаются в город ремесленники, а я, мама, поднимаюсь к крепости. Не хочется так рано будить Чаренца.

Хотя дорога и ровная, без ухабов, но ноги не слушаются меня. Останавливаюсь, оглядываюсь, смотрю на прохожих. Они держивают шаг и внимательно смотрят на меня. Поздороваться, не поздороваться — не знаю, как быть. А куда делись Телефон Сето, отец Иусик Хачагох, Марангоз Ншан, Клуби Меймун, Мерели Енок*, что-то не видать их. Дома вокруг крепости сохранились такими, какими они были, кто знает, сто, а может, и тысячу лет назад.

В крепости, как оказалось, нас ждали: наверное, были предупреждены. Рослый, крепкого сложения молодой человек, вооруженный радиопередатчиком (выдает небольшая выпуклость у него на поясе), делает вид, что не замечает нас, на самом же деле контролирует каждый наш шаг.

— А чей это памятник на склоне напротив? — озорничаю я.

— Кемаля Ататюрка, — приводит его в ужас мой вопрос. Это как если бы кто-то посетил Советскую Армению до 1953 года и, увидев монумент Сталина, спросил бы: кто это?

Под горельефом метровыми буквами высечено: “Родина обязана тебе”.

— На противоположной высоте находится наша пограничная казарма, — вовлекает меня в разговор на правах хозяина молодой человек с радиопередатчиком. — В армии мы растим кадры преданных родине молодых бойцов. Потому и все крепче и могущественней мы день ото дня.

* Герои романа Е. Чаренца “Страна Наири”.

Пусть говорит: помню, то же чувство самодовольства и самоуверенности овладело мною на шущинской крепостной возвышенности. Но ведь мы тогда освободили нашу страну, они же — захватили чужую. Да еще и хвастают... Спустишь-ка я вниз, так-то будет лучше, спустишь в армянский квартал, найду Чаренца. Он самый что ни на есть карсец, по сравнению с этим молодым человеком — самый настоящий... И он уже шепчет мне на ухо: "...на самой высокой башне крепости развеивается не наирийский, украшенный орлом флаг. Крепость построили наиряне, но, к сожалению, эта же самая крепость ныне защищает пришельцев от нас, истинных хозяев крепости и города. Настанет день — и они уйдут! И вновь с неприступных твердынь крепости, словно страшная железная угроза, воспрянет наирийский дух... И зажжется вновь с неугасимой веселостью, возликует тысячелетняя страна — страна Наири!..."*

Что мне сказать, Чаренц, ты не обижайся, но придется поспорить с тобой, если найду тебя. Мы настолько были очарованы тобой, твоим величием, так безоговорочно верили тебе, что подчас не замечали реальности. Церковь Апостолов, во дворе которой я неожиданно очутился, спустившись вниз, не такая, какой изобразил ее ты в своей "Стране Наири". Да, она действительно привлекает своей неприхотливостью и простотой, и в ней действительно воплотился наирийский дух. Но на ее куполе нет креста. И этот прекрасный памятник армянского средневековья давным-давно уже носит название не "Аракелоц екехеци" (церковь Апостолов), а "Гюмбет джамиси". Рядом с церковью Апостолов раскинула щупальца похожая на медузу довольно большая мечеть. Разумеется, ревностные мусульмане не нуждаются в двух находящихся бок о бок молитвенных домах, но сделали все, чтобы на случай приезда сюда поразить нас. Следы разрушения видны на заросших сорняком барабане купола, рельефах с изображениями апостолов. Разложение распространилось по аркаде, коснулось уже и ризницы. Со временем стены дадут трещину, рухнут. Турки скажут: "Не наша вина. Это армяне не умели строить".

Вспоминаю, что дед моей соседки был архимандритом Карсской епархии, и я, склонившись над могильными плитами, собираюсь зажечь свечу, с опозданием исполнить его завет.

И вдруг откуда ни возьмись возникает обросший щетиной сторож.
— Ясак (нельзя).

* *Е. Чаренц. "Страна Наири". Перевод Я. Хачатрянца.*

— Хочу зажечь ладан.

— Ясак.

Предлагаю ему деньги. Окидывает меня с ног до головы пренебрежительным взглядом, мол: “Да кто ты такой? Я вот могу не впустить тебя в церковь, которую построил твой царь Абас Багратуни”. Тут подошли мои попутчики. Через щели южных ворот им удалось заглянуть в церковь, рассказывают они мне, и там нет ничего, кроме мусора. Вновь возникает молодой человек, который хотел не то поразить, не то поугубить меня боеспособностью своей страны, и в оправдание своего появления выговаривает сторожу за наплевательское отношение к свидетельствам прошлого Турции. Подчеркивает слово “Турция”. И как бы в знак доброго отношения к нам советует:

— Что вы ищите в этих хараба*? Идите и посмотрите новый Карс.

На другом берегу реки действительно расположился современный город. Здесь нет многоэтажных зданий (плоскогорье высокосейсмично), но дома, выкрашенные в зеленый, синий и по преимуществу желтый цвета, красивы и приятны с виду. Интересно, если бы мы продолжали жить в Карсе, как бы мы отстроили новый город и где стояла бы скульптура Чаренца, находящаяся сейчас на ереванском Кольцевом бульваре? Скульптура карсца Чаренца... Разжимаю ладонь и читаю — уже в который раз! — адрес на скомканном листке: “Су капсы мааллеси, Ардаган чаттеси, 6”**. Быстро прощаюсь с молодым человеком (делаю вид, будто следую его совету) и направляюсь в старый город. Проходя по мосту Вардана, проникаюсь, как говаривал Чаренц, его “дивным очарованием” и “мощной красотой” и не могу превозмочь желание остановиться... Стою под третьей, самой большой аркой и, опершись о его каменные перила, гляжу вниз. Куда я смотрю и кого я жду? Как это — кого? Сейчас появятся, проплывут на лодке Карине Котанджян со школьными друзьями. Они заметят сидящего в одиночестве на скамейке юношу в широкополой, не по возрасту, шляпе, с курительной трубкой в одной руке и с тростью — в другой. Карине, приметив странного юношу и заинтересовавшись им, спустится с лодки, подойдет к нему и скажет:

— Будем знакомы.

— Егише Чаренц. Поэт-футурист, — поднимется с места юноша.

* Хараба — развалины (турец.).

** Квартал родника, улица Ардаган, 6 (турец.).

Интересно, знают ли распивающие чаи эти мужчины, что рас-
селись на низких стульчиках расположенной напротив чайной,
что живут они в городе, где родился один из великих поэтов
прошлого столетия?

*Оставив Карс, мой каменный дом на речном берегу,
Сады и небо лазурное Карса я в памяти берегу.
И, не сказав Котанджян Карине: “Оставайся с богом”,
Бреду чужой в чужих краях и по чужим дорогам.*
(перевод подстрочный)

Кровь попеременно то стынет, то жарко пульсирует в висках.
Очень люблю Чаренца. “Су капсы мааллеси...” — и не заметил
даже бани “Фантазия”; подобно мечети, она имеет купол, напо-
минающий арбуз. До четырех часов дня она бывала открыта для
женщин, а после четырех — для мужчин. И когда купались жены,
отцы семейства, будь это цирюльник Васил или Хаджи Оник, Ма-
нуков Эфенди или же духанщик Егор*, ровно в двенадцать часов
вот по этой же дороге, на виду у всего города, посылали они в
баню фрукты: арбуз, дыню, виноград...

“Ардаган чаттеси, б”; дом и в самом деле из нетесаного кам-
ня. Нерешительно приближаюсь, стучу в дверь. Не открывают.
Стучу все сильнее и сильнее. Наконец замечаю прибитые гвоздя-
ми к окнам ржавые железные листы. Разбив в кровь руки, мне
удалось отодрать один из них и заглянуть внутрь: интересно, си-
дя перед каким из этих окон ты писал свои “Три песни”, посвя-
щенные печальной бледнолицей девушке? Твой первый сборник
стихов. А ведь в годы, когда я учился в школе, твои юношеские
произведения относили к субъективной отвлеченно-символист-
ской поэзии, и они не издавались. Их приносила нам твоя дочь
Анаит, наша учительница армянского языка. Так мы по очереди
читали, переписывали твои “Три песни”, изданные еще в Карсе.

*Дождливый, влажный вечер.
Улицы бесшумны и пусты.
И носится ветер стремительно-шквальный
И мокрый.*

(перевод подстрочный)

В какой из этих комнат ты простился со своей матерью, от-
цом, тремя братьями и тремя сестрами и, надев форму добро-

* Герои романа Е. Чаренца “Страна Наири”.

вольца, отправился защищать Ван? Да разве дело это? Ведь настигни тебя слепая пуля, армянская, да что я говорю — всемирная литература лишилась бы молитвенного звучания таких стихов, как “Я солнцем вскормленный язык моей Армении люблю”, “Навзикая”, романа “Страна Наири”. Об этом и многом другом я хочу поговорить с тобой, сказать о том, до чего абсурдной и бессмысленной была бы эта жизнь без твоих книг — но, увы, тебя нет дома.

*Если встретите на улицах Карса вы Карине Котанджян,
Скажите ей, Чаренц сказал, прости, прощай.
(перевод подстрочный)*

Устал я, утомлен, но это уже другая мука... Иду вверх по Лорис-Меликовской улице, где должна быть описанная Чаренцем знаменитая кофейня Телефона Сето, с вывеской: “Кофе, чай, столовая — Седрак Фалян”.

Останавливаюсь. Тотчас выходит навстречу мне хозяин харчевни. Радушно, с приветливой улыбкой усадив меня за стол, предлагает все ту же — по прошествии стольких лет — “чорбу”*. Кажется, что он одновременно и на кухне и в зале, постоянно крутится вокруг меня и, выяснив всю мою подноготную, наконец приносит вкусно дымящуюся чорбу. Из музыкальных автоматов — такие же заполняют шумом близлежащие к Еревану шашлычные — льется мягкая восточная мелодия. Во мне же, вдруг проснувшись, эхом отдаются песни ереванских шашлычных:

*Карс, Карс, Карс, наш армянский Карс!
И когда ж ты возвратишься к Айастану, Карс...
(перевод подстрочный)*

Взяв ложку, чувствую, как невольно скользит она между пальцами вниз. А что, если в годы повального бегства дед этого вот официанта с вкрадчивой улыбкой грабил армян, насиловал женщин, рассекал головы младенцев и бросал в Карсачай?.. Не дотронувшись до еды, я иду к выходу под недоумевающим взглядом хозяина харчевни. Жаль, конечно, но ничего не могу с собой поделать: для меня 1915-й — еще не перевернутая страница истории. Это — моя судьба, мое сегодня и, кто знает, может, мое завтра. В нашем квартале, в Арабкире, до недавнего времени

* Мясной суп с рисом.

еще жив был Минас-ага, который из страха перед турком по ночам держал топор за дверью. Жива была и бабушка Ноэм. Она сушила сухари и рассовывала их по всем карманам своих юбок. У всех наших арабкирских стариков напоследок единственным желанием было лежать под плитой, на которой будут высечены годы рождения, смерти и откуда они родом. А когда наступит день освобождения, чтобы правнуки перенесли бы их кости на родину. И я, вам кажется, могу все это забыть? Скажите — как?

Даже турки уничтожают не все свидетельства прошлого.

В музее города Карса и сегодня экспонируется охраняемый с особым тщанием, судя по его внешнему виду, вагон, в котором тринадцатого октября 1921 года в присутствии делегатов из России был подписан договор о дружбе между Арменией, Грузией, Азербайджаном, с одной стороны, и Турцией — с другой. Удивительно выглядела эта дружба: армянская сторона, ничего не получив взамен, уступила почти половину Западной Армении, в том числе территории, которые в прошлом никогда не принадлежали Турции...

Раздумывая о судьбах страны в своем романе “Страна Наири”, Чаренц не раз обращается к читателю: “Что же такое, наконец, Наири?.. Быть может, она фикция, миф?.. Не бред ли она большого мозга, не сердечная ли болезнь?” Нет, не фикция и не болезнь. Иначе не перенесли бы на родину прах Зоравара Андраника по его собственному желанию спустя пятьдесят лет (трудно даже представить!) после смерти; и Уильям Сароян, который родился в Америке и всю жизнь писал на английском, не завещал бы частицу своего тела (свое сердце) земле Армении. Как и Комитас, как и Арам Хачатурян, Дро...

Мы, армяне, можем выдержать и вытерпеть все, но мы не можем, говоря словами Чаренца, вынести тоски по нашей “осиротелой и опоенной кровью родине”. Прости меня, мама, за то, что я обманул твои надежды, до Карса дошел, а с Чаренцем так и не повидался. Ничего не поделаешь. Он находится там, где Варужан и Бакунц, Сиаманто и Тотовенц*. В армянском пантеоне вечной славы.

Игдир
26 авг., 05

* *Армянские писатели, ставшие жертвами младотурок (1915) и сталинских (1937) репрессий.*

На следующий день по дороге в Игдир был момент, когда мы испытали некое отчуждение. Но это прошло, когда, проехав Теткор, мы приблизились к границе и тяжело нависшая над солончаками тишина взорвалась курлыканьем аистов. С верхушек топей исторического Варданакерта (ныне Маргара) они взмывали вверх, раскрыв крылья в свободном парении, и, пересекая небо над Араксом, летели дальше и исчезали среди болот Сурмалу. Известно, что еще сто лет назад лягушки, что водятся в этих болотах, изводили своим кваканьем, не давали спать самому недисциплинированному ученику игдирской мужской школы Драстамату Канаяну*. Разумеется, границ для аистов не существует и не существовало никогда. А вот игдирцы во время последней депортации решили поселиться недалеко, в ближайшей пограничной деревне с надеждой на скорое возвращение домой, при первой же возможности. Нет, не представилась эта возможность. Напротив, Аракс, по-ихнему Араз, пересекавшая дорогу Маргара – Игдир длиною в несколько километров, была объявлена пограничной рекой. И не то чтобы переплыть, а подойти близко к реке стало невозможно.

Мама джан, а ты, наверное, думаешь, что по прошествии стольких лет что-то изменилось. Пожалуй, но только к худшему. Для того чтобы объехать мост над Араксом, нам пришлось преодолеть труднейшие километры.

В Игдире зрел виноград. Под раскаленным добела солнцем румянились сочные гроздья “гаран дмака”, “ицаптука”, “харджи”, “хачабаша”, “кишмиша”.

Отец Дро, Мартирос Коко, обещал — когда это было? — угостить меня бродящим маچارом** из красного винограда. Както в Бостоне (помнится, день клонился к вечеру) я наведлся к вдове Зоравара тикин Гаяне, и мы вместе отправились на кладбище Маунт Обарн. Навестили Дро. После кладбища мы поехали к дочери тикин Гаяне, Оле, которую Дро удочерил и любил как родную дочь. Она пригласила нас на ужин. Внучка Дро не знала ни слова по-армянски, крутилась вокруг и с голливудской улыбкой на лице угощала нас кофе, соками, печеньем. Мартирос Коко все смотрел и смотрел с фотографии, висящей на стене, и наконец не стерпел:

* Армянский полководец, военный министр Первой армянской республики. Умер в Бостоне в 1956 г.

** Молодое вино.

— Не так угощают в доме у Канаянов. Вот приедешь в Игдир, опущу в тони́р молочного ягненка, запеку и заверну в лаваш, положу на стол, рядом жареный с яйцами ванский тарех*. Ну и обязательно красное вино или мачар. В зависимости от погоды.

Автобус останавливается на подступах к городскому бульвару, напротив скульптуры президента Азербайджана Гейдара Алиева. Как он сюда попал — неизвестно.

— У этих людей и в мыслях даже нет, что они должны вернуть нам наши земли, — глядя в окно, возмущается парон Аруюн. — Что это за строительство они затеяли?

На самом деле, армянский Игдир, точнее, Цолакерт, со временем постепенно уступая позиции, преобразился. Но во что превратился — непонятно. На равнине между горой Арарат и Араксом высятся многоэтажные дома. Своей цветистостью они напоминают восточную мозаику. Строительство в городе не прекращается, он застраивается все новыми и новыми домами — в том же стиле и с тем же энтузиазмом. Выхожу из машины: предстоит визит к Канаянам, еще в Бостоне договорился. Буду пить красное вино “мовуз”.

И какое мне дело до нового города? Иду мимо двухэтажного здания почты, по бульвару и выхожу к кварталу Пос (Яма). Высохла полностью знаменитая игдирская топь — гёл, деревня Блур слилась с городом. А вот и дом Мартироса Коко. В этом доме без гостей за стол не садятся. Русские офицеры уже поужинали, наверное, и вино мое выпили и, рассевшись парами, играют в карты. Дро примостился рядом, заявив отцу, что хочет русскому научиться. Языку или игре? Но тут заявляется неожиданно приятель и шепчет ему на ухо, что сельский староста из Теджерата, который выдал армянских фидаинов, когда они переправляли в Западную Армению оружие, находится сейчас в Игдире и со своими двумя приятелями собрался в баню. Сорвавшись с места, Дро мчится на бульвар и с криками “смерть продажной собаке!” стреляет в старосту, возвращается домой и продолжает следить за игрой.

Через некоторое время в дом врываются полицейские.

— Дро, ты, говорят, человека убил, должен пойти с нами.

Русские офицеры поднимают их на смех.

— О чем вы, господа? Молодой человек вот уже два часа как сидит рядом с нами, с места даже не вставал...

* *Название рыбы.*

В годы первой мировой Дро, выписавшийся из больницы Арамяна в Тифлисе, встретил случайно на улице одного из гостивших в отцовском доме офицеров, теперь уже полковника Александра Заболотко. Тот напоминает ему о давнем том случае:

— А помнишь, Дро, как тебе хотели пришить убийство сельского головы?

— Ну и правильно, — спокойно отвечает Дро.

— Как?

— Я его убил...

Наперерез через сад Мартироса Коко я выхожу во двор Авагянов. Как так могло случиться, что ненависть и вражда между этими семьями, невзирая на то что они жили бок о бок, передавалась от поколения к поколению? Ненависть и вражда возникли давным-давно, так давно, что никто и не помнил, из-за чего.

Как назло, случилось так, что Дро влюбился в миловидную дочь Авагянов, в Нвард. Отец семейства, узнав об этом, пришел в ярость:

— Да лучше я заколю дочь на пороге своего дома, принесу в жертву, чем стану родниться с этими!

Дро добрался до Баку, участвовал в оборонительных боях, среди бела дня, на улице, бросил бомбу в одного из организаторов погромов генерал-губернатора Накашидзе, вернулся домой и попросил руки Нвард. Отказали.

Ему едва исполнилось двадцать, а уже приказом Никола Думана он был назначен командующим вооруженными силами Котайка, позже Вайка, Нахичевана. Организовал защиту армянского населения этих районов от грабежей и насилия. Вернулся домой, попросил руки Нвард. Отказали.

Ушел. Двинул в Сисиан и, объединившись с Керы **, очистил край от турок-татар. И вот он на белом коне, вскачь, снова на том же дворе. Отец Нвард вышел к нему, обнял, поцеловал в лоб:

— Сынок, для меня большая честь иметь в зятях такого героя, как ты...

И не счесть, конечно, сколько баранов было забито, сколько кувшинов вина выпито — казалось, весь город толпился во дворе церкви св. Геворга.

* Известный деятель национально-освободительного движения (1867-1914 гг.).

** Известный деятель национально-освободительного движения (1858-1916 гг.).

В тот день приходской священник Тер Месроп — царство ему небесное — прежде чем войти в церковь, по обыкновению пропустил стаканчик и, как говорится, был под хмельком. Священник так долго читал проповедь, настолько растянул церемонию венчания, что во дворе уже стемнело, когда невеста и жених рука об руку вышли из церкви. Но не успели они дойти до бульвара, как перед ними откуда ни возьмись, разгоряченный, весь в испарине, возник на коне Гало из Хлата. Не спешиваясь, снял он с головы папаху, отер пот со лба и протянул новобрачному сложенный лист бумаги. То была записка от Никола Думана: “Идем на Зангезур, очень нужна твоя помощь”. На миг Дро изменился в лице, но после, успокоившись, проводил Нвард домой. Вверяя ее своему отцу, сказал:

— Позаботься о ней. А мне — на войну.

Мартирос Коко хорошо знал своего сына, готов был чуть ли не в присутствии гостей броситься ему в ноги.

— Поезжай завтра, сынок, не грехи против совести. Не губи мечту своей суженой.

А нога жениха в сапоге с высоким голенищем уже была на стремени белого скакуна...

Ловлю себя на том, что уже раза три-четыре прошелся из конца в конец по той же улице, в прошлом бульвару, в надежде встретить хоть одного знакомого. Не встретив никого, направляюсь к садам...

И в Западной и в Восточной Армении: в Нахичеване, Зангезуре, Ване вплоть до Тарона, куда Дро, раненный в легкое, успел добраться, люди повсюду встречали всадника на белом коне хлебом-солью, интересовались, что за земля родила такого героя. На этот вопрос у него был один ответ:

— Земля, которую турок не сумел покорить, земля, которая не склонила головы перед турком.

Все было именно так, конечно, и никак не могло быть иначе.

От Игдира до Арарата рукой подать, гора до того близко, что даже макушка ее не видна. Аракс журчит прямо у ног моих, а впереди шумят сады, в которых Ной, однажды захмелев, не постеснявшись своей наготы, разделся догола и уснул. Старика упрекнуть не в чем, понемногу убеждаюсь я, сурмалинскую жару выдержать невозможно, тем более если ты во хмелю.

В 1920 году, когда Дро, принявший командование национальной армией, освободил Лори и был почти на подступах к Тифлису, он получил известие, что османские орды вторглись в его

родное Сурмалу. Потемнело в глазах у Зоравара: так турок хочет осквернить землю его дедов? Да как он смеет!.. Неужто неизвестно ему, что он спарает, военный министр и главнокомандующий? Повернул войско обратно, прорвался через Аракс, отшвырнул башибузуков. А что толку... Дипломаты сели за стол переговоров и в качестве трофея отдали эту землю туркам. Буквально подарили.

*Аман, аман, Сурмалу,
Судьба змеюкою легла на грудь твою...
(перевод подстрочный)*

Пели, точнее, скорбели игдирцы. А что им оставалось? Разве не осиротела Армения без матери-горы и матери-реки? Разумеется, отдавать Сурмалу туркам было ошибкой, вскоре это поняли и в верхах, даже решили исправить досадный промах. В Новом Арабкире рядом с нами жил наш квартальный. Мы звали его “товарищ Аваг”, а за глаза называли секретарем райкома. Абсолютно серьезно, без иронии. Когда-то он действительно был назначен на эту должность, получил даже соответствующее удостоверение. В конце второй мировой войны, когда победа Советской армии была близка, командование неожиданно вызывает обратно с разных фронтов воюющих армянских офицеров, в числе их и “товарища Авага”. Решили отправить офицеров в Армению. Вспоминая минувшие дни, наш квартальный тер глаза и начинал заикаться.

— Ночью нас взяли на берег Аракса. Видим, колючей проволоки нет, граница открыта. Нас, армян из Западной Армении, направили в головняк, так как нам хорошо были знакомы дороги. Заняв позиции, мы ожидали приказа “пэръёд”, считая секунды, доли секунд... Я, чтобы вдруг сердце не выскочило, крепко прижал к груди приклад ружья. У каждого было свое задание. Я должен был войти в Игдир, взять руководство городом на себя. Поклялся своим партийным билетом, что не причиню вреда ни одному турку. Вдруг вместо приказа “пэръёд” прозвучало возмущительное “атставиц”. Мы так и не поняли, какая мысль пришла на ум Сталину в поздний этот час.

Судьба змеюкою легла на грудь твою, Сурмалу...

И куда это я собрался, воюя с самим собою? Куда? Я ищу следы пальцев Дро. Следы... Невозможно, чтоб они стерлись.

Зоравар, когда ты во главе армянской армии покидал Игдир — где, на каком месте ты вдруг повернул обратно, не слезая с

коня зачерпнул земли пригоршню и насыпал в карман своей бурки? Я видел эту землю. В Нью-Йорке она хранится как реликвия, завернутая в наш триколор. Все, как ты хотел.

— Не смейте и думать, чтоб устлать ею мою могилу здесь, в Нью-Йорке. Храните ее, и пусть каждый армянский юноша при вступлении в скауты даст обет отвезти хотя бы мое сердце на родину...

Это последние твои слова, произнесенные перед смертью. Тикин Гаяне (которой сто один год) дрожащим голосом, плача без слез, рассказала мне, как к ней подошли верные тебе люди, твои однополчане, передали ей твой наказ.

— Сердце, которое всю жизнь билось в Армении, не должно быть похоронено в чужой земле, — сказали они ей.

Для богобоязненной твоей супруги вынуть из груди мертвого человека сердце было крайне жестоко, немилосердно, но усилием воли подавила она в себе эмоции и, покорившись обстоятельствам, пробормотала:

— Поступайте как хотите, он в равной степени принадлежит мне и своему народу.

Пожалуй, хорошо, что тебя уже не было в живых, Зоравар, знай ты, как сложилась твоя судьба в дальнейшем, ты бы такого не стерпел. Шли годы, и сердце твое, хранившееся в специальном сосуде, не выдерживая разлуки, никло от тоски... Делегации, направляемые в Советскую Армению на переговоры, возвращались ни с чем. Страна, ради которой ты проливал кровь, не желала выделить ни уголка, ни горстки земли твоему сердцу... И так все сорок лет...

Наклоняюсь, отвожу назад растущие высоко ромашки, беру горстку чернозема с игдирской земли.

— А ведь хорошая наша земля, не правда ли? — издали подает голос какой-то мужчина с косынкой на голове, поливальщик наверное. Подумал, что пробую ее на мягкость. Будь на моем месте ты, Зоравар, стерпел бы такое? Вот и я не выдержал:

— Разве ж земля это? — простонал я... — Кровь да слезы.

Мужчина, поглубже вогнав лопату между грядками, направляется в мою сторону. По дороге сорвав с дерева персик, протягивает его мне. У него усы, какие обычно отпускают курды, и акцент какой-то странный.

— Тау, тау, — говорит так, словно обращается к людям на противоположном берегу Аракса. — И мы слышали... И мы знаем об этом, но что делать? Сидеть сложа руки, когтить себе лицо и горе горевать? И не копать землю, и не поливать ее, и чтоб дети жили впроголодь?..

Мне оставалось подобру-поздорову уйти, исчезнуть. Даже народы с общей с нами судьбой и те не понимают нас. Потому и не могут жить в Армении. И бегут они не от нас, от судьбы нашей бегут.

Р.С. Приехав в Ереван, мам, в первую очередь я решил отправиться на могилу Дро. И, как учил блаженной памяти архиепископ Месроп Ашчян, привезенную из Игдира землю я рассыпал вокруг гробницы и, чтобы ветер не развеял, окропил водою Аракса.

Посидел я, мама, у могилы, и, когда уже собрался выпить на помин души Зоравара, он спросил:

— Приехал-то когда? Ну и как там, в Игдире?

— Земля тоскует без тебя, ждет к себе.

— Пойду, коли ждет, — сказал. — Из Америки до Апарана* если дошел, доберусь и до Игдира...

Кохб

27 авг.,05

Держу путь к Арарату, мама. Мы, армяне, все, со дня рождения направляем свои шаги к Арарату. И если умираем, то умираем по пути к Арарату. Первый армянин, который дошел до вершины священной горы, был, ты знаешь, личный секретарь и переводчик католика всех армян двадцатилетний Хачатур Абовян. А вообще-то после Ноя он наверняка был первым человеком, ступившим на Арарат. Уверенный в себе, прошагал он впереди экспедиции всю дорогу, однако в день 27-го сентября 1829 года, в 15 часов 15 минут, на подступах к самой высокой вершине Большого Арарата опомнился и, как гостеприимный хозяин, незаметно и деликатно пропустил вперед Фридриха Паррота. Не знаю, что испытал на вершине горы ректор Дерптского университета, естествоиспытатель немец Фридрих Паррот, Хачатур же дрожмя дрожал и тихо говорил с самим собой: “Кто сумеет даровать мне слово и наделить меня речью, коими мог бы воспеть я прелесть и красоту наших Масисов... И не угадать моей душе того великолепия, что узрели очи мои, и языку моему не рассказать о том, чем преисполнен я, и перу моему не описать всего,

* Дро перезахоронен в Апаране, городе, который он освободил от турецких захватчиков.

что улаждало взор мой”. Только для иностранца Арарат всего лишь мертвый вулкан, состоящий из пирокластов мощных андезито-дацитовых и кварц-трахитовых образований неогенного периода, но для нас, армян, он наша самость и сущность с того самого дня, когда Наапет* Ной покинул вершину горы и по пути в долину посадил первую виноградную лозу. У любого армянина в душе есть свой Арарат, если даже он никогда не видел его.

Уроженец Тифлиса Аршавир Мхитарян, поднявшийся в сентябре 1903 года на вершину Арарата, рассказывал о своем восхождении: “...прижавшись лицом к холодному челу его, я зарыдал. Широко распростертыми руками гладил я седые волосы старца, терся лицом о его холодное лицо, с жадностью, неистово целовал я снежное его чело, с неистощимой тоской терся щеками об его обледенелые щеки и повторял без конца: говори же, рассказывай, спрашивай, мой бесценный, моя душа... Вся Армения с ее бескрайними полями, широкими долинами, лазурными реками и красивыми горными цепями тесно обступила старца-патриарха, окружила так, что никакая сила не сможет их разлучить...”

Наивный, наивный Аршавир. Однако он, поразмыслив, вроде как отрезвел (наверняка исконный васпураканец): “И кто подарит мне тот счастливый день, когда я, как теперь, мог бы встать на снега Сипана... И надолго ль мы обречены издалека любоваться дивным видом нашей родной горы?”

Бедняга, не мог он даже и предположить, что вскоре мы будем обречены издалека смотреть не только на Сипан, но и на Арарат. Мама, а разве не мы с тобой, чтобы увидеть Арарат, наш Арарат, вынуждены были поехать... в Болгарию?

Признаюсь, обошелся я с тобой бессовестно. Когда мы приехали в Софию и разместились в гостинице, я не поспешил с визитом к своей бабушке, твоей матери, с которой ты не виделась двадцать лет, и не позвонил ей, а занялся поисками телефонных номеров тех, кто только что вернулся из похода на Арарат. Я и не мог предположить, что электротехник Борис Туечкин, ботаник Димка Москова, радиореporter Владимир Марьянов, социолог Пенко Геров вскоре в полном составе, не заставив себя долго ждать, ворвутся в наш тесный номер. И пока ты расставляла на столе армянские Араратской долины фрукты, марочный коньяк “Арарат” и сигареты “Арарат”, они быстро и умело принялись за

* Патриарх, родоначальник.

дело. Установили аппаратуру, и на гостиничной стене задрожала живая картинка, изображение Арарата, сопровождаемое известными словами Джеймса Брайса: “Большой Арарат среди гор наиболее величавый, Малый — самый великолепный”. Затем участники похода кадр за кадром во всех подробностях рассказали о восхождении, я же то и дело повторял: “Какие же вы счастливы! Вы, наверное, самые счастливые на свете альпинисты”. Что-то в том же духе бормотала и ты и время от времени, я замечал, выходила в прихожую вытирать глаза. И так до тех пор, пока Борис Туечкин не закончил показ, а после сразу же и не разочаровал нас:

— За это счастье мы заплатились тюрьмой.

— Расскажи!..

— Турки, узнав о сборах, потребовали у нас огромную сумму, но у нас не было таких денег. Арестовали они нас на обратном пути, при спуске. Мы-де без особого разрешения поднялись на их пограничную гору.

— Что было дальше, что они сделали?

— А что они должны были... бросили в камеру с уголовниками. Один из них с нескрываемым удовольствием рассказывал, как он, чтобы отомстить соседу, с двумя своими корешами ворвался к нему домой, и, не застав его, они зарубили прямо у порога жену и дочь соседа.

— Хорошо еще, что вы были вместе, втроем, — вмешалась в разговор Димка Москова, единственная в группе женщина. — Я же сидела дрожа, забившись в угол, когда в камеру втолкнули молодую женщину с грудным ребенком и та рассказала, что, поссорившись с соседкой, она в иступлении задушила ее ребенка. После испугалась, что соседка таким же образом расправится и с ее чадом. Вот и показалась ей тюрьма самым безопасным местом.

Болгарские альпинисты давно ушли, а я все продолжал смотреть на стену, которая, как мне казалось, хранила еще тепло Арарата. Потом подошел, потрогал пальцами. В этот момент ты произнесла фразу, которую мне никогда не забыть: “Ты Арарат в себе ищи, сынок. Пусть каждый армянин в себе ищет Арарат. И он непременно найдет...”

Крепкие, стройные тополя Игдира постепенно клонятся к земле и, как покинутые дети, несутся вдогонку за нашим автобусом: “Эй, куда вы, на кого вы нас бросаете?..”

Аракс, однако же, бежит рядом, бьется о прибрежные камни, дробится, но никак не может расстаться с нами.

По берегам твоим заснувшим

Брожу, Аракс, в тоске моей...

Р.Патканян (перевод Ю.Веселовского)

— затынул кто-то. Слышно, как рыдает Жанетт.

Точно так она рыдала прошлой осенью и в Мегри. Чем мы, спрашивается, занимались на южной границе нашей республики? Опять же делами наших армян.

Жанетт и ее муж — драматург и поэт Грант Маргарян — первые шесть месяцев в году проводят в Нью-Йорке, остальное время живут в Ереване. Но по приезде не спешат, без особого на то повода, попасть в Гарни, Гегард, Севан или Дилижан, как это обычно принято. Тоска их имеет свою особенность, и они утоляют ее особым образом. Грант при поддержке американских благотворительных учреждений добывает денежные средства, лекарства, медицинскую аппаратуру для туберкулезных диспансеров Армении и Арцаха. Он утверждает, что больные чахоткой армяне столь же достойны внимания и заботы, сколь и ...

Помнится, в прошлом году, когда мы вышли из горисской больницы, я, то ли из желания развеять тяжелое впечатление от посещения больных, то ли похвастать красотами природы Зангезура, имел неосторожность заметить, что на другой стороне занесенного снегом гористого склона лежит солнечная долина, где зреют инжир и гранаты и течет река Аракс.

Жанетт растрогалась и взмолилась с детской непосредственностью:

— Поедем, хочу увидеть Аракс, в Мосуле я училась в армянской школе и декламировала много раз “По берегам твоим заснувшим брожу, Аракс...” Всю жизнь я мечтала окунуться в ее воды...

Говорил же, особая у Гранта и у Жанетт тоска.

Стараясь не замечать написанного на лице у водителя недовольства, мы попросили его свернуть с дороги и, поднявшись по серпантину к подножию Гохтанасара (высота 2535 метров над уровнем моря), понеслись вниз к ущелью Аракса. По обеим берегам Меграгета золотились литые, как груди беременной молодой, персики, томились в сладком соку плоды инжира, но Жанетт ничего не замечала:

— Аракс... поскорей бы увидеть Аракс.

Я, конечно, не знал, что после развала Советского Союза, после стольких неожиданных, подчас неуместных перемен и нововведений граница осталась прежней. Ряды колючей проволоки неумолимо-бесповоротно перекрывают нам путь.

Вынужденно направляюсь к пограничной заставе:

— Разрешите, пожалуйста, хотя бы только этой женщине подойти к реке...

— Нельзя, — строго, как приказ, прозвучал голос русского офицера.

— Но ради этого она летела много тысяч километров из Соединенных Штатов и добралась до Мегри.

Офицер с ног до головы смерил Жанеттт, потенциальную шпионку:

— Тем более нельзя!

Едем по берегу Аракса, но мы мысленно продолжаем путь по другому ее берегу. Местами река настолько близко от нас, что кажется, стоит только высунуть руку из окна, и ты коснешься ее волны. Жанеттт слезно умоляет водителя остановиться:

— Хоть на минуту.

Суровые громады гор окружают реку с двух сторон. И кажется, что неприступные эти массивы не подпускали близко к ущелью никого еще со времен сотворения мира. Торчащие выступы утесов напоминают клыки мифического дракона, и мы входим прямо в разверстую его пасть. Не успевает Жанеттт сделать и пары шагов, как из глазницы дракона с автоматом наперевес возникает какой-то аскер и загораживает нам дорогу:

— Деовлет синир дыр, ясак (государственная граница, нельзя).

Я спешу на помощь, объясняю, откуда и ради чего приехала Жанеттт. Для вящей убедительности указываю на сосуд, который у нее в руке. Аскер наконец понимает, что мы армяне. Опускает автомат.

— Армяне? Тем более нельзя.

...Разве ж возможно такое... чтоб армянин проделал такой долгий путь и не имел права зачерпнуть немного воды из матери-реки! Не позволено, ни на том берегу, ни на этом. Мы удручены, настолько оскорблены, что даже не замечаем когда-то принадлежавшие Эчмиадзину кохбские соляные копи. Эчмиадзину?.. Давно ли это было, когда кохбцы свою превосходного качества соль добывали и экспортировали в тысячу и одну страну? Не осталось и следа от церковей Святого Креста и Святой Троицы. Виновником всему один из учеников Месропа Маштоца — философ Езник Кохбацци. Родился он в одном из этих домов-развалюх, что попадаются нам на пути. Ученый считал, что железо может быть использовано как с доброй, так и со злой целью. Того, кто изготовлял лемех из железа, он считал добрым, а кто копье или дротики — злым. Армяне поверили ему. Не понимали, что добро по-

беждает только в сказках. Куда же подевались Кохб, кохбцы, что стало с ними и с их добротой? Но раздраженность и досада исчезают мгновенно, и мы вскакиваем со своих мест и дружно голосим:

— Арара-а-т!..

Услышал он или нет, показалось или на самом деле, — но он будто проснулся, распрямил спину, вышел из дремы. Застигнутый врасплох, осмотрелся кругом и, заметив нас, широко улыбнулся. Не правы те, кто утверждает, что с турецкой стороны Арарат малопривлекателен. Все дело в том, что он в отчаянии. На той стороне не видно армян, не слышно армянской речи, вот он и изнемогает, томится. Да разве может Арарат жить без нас? Как и мы без него?

Проехав подгорье, мы уже едем почти по склону. Хочется остановиться, сделать хотя бы снимки, но боимся: вдруг выскочит из-за груды камней какой-нибудь аскер и, наставив на нас автомат, крикнет: “Яс-сак!” Нельзя! Хотя бы сейчас рядом со мной оказался парон Акоп: если ты помнишь, мама, Арарат был его мечтой. Ради горы он оставил свою семью. В 1947 году, кажется из Александрии, он репатриировался на родину. Караван армян из Египта прибыл в Ленинакан, но надо же такому случиться — прямо на вокзале у парона Акопа украли багаж. Поисков, порасспросив, добрался он до ближайшего милицейского участка. Представившись начальнику, сказал:

— Чемоданы у меня украли...

Можно представить послевоенный Ленинакан, голодный, переживший тяготы войны город, и в этом самом Ленинане — парона Акопа в широкополой шляпе, элегантном костюме, с платком под цвет галстука в нагрудном кармане пиджака. Тут еще и начальник, неизвестно на каком фронте потерявший ногу, набрасывается на бедолагу, изливая накопившуюся в душе желчь и горечь:

— И не стыдно, товарищ?! Что ты такое говоришь?.. Чемоданы украли! Разве возможно такое в нашей советской стране?..

— А что сказать? — жалобно спрашивает парон Акоп.

— Скажи, потерял.

— Ладно, потерял.

— Будем иметь в виду. Как только найдем, дадим знать.

Но парон Акоп не мог оставаться в Ленинане, ждать, пока найдутся его чемоданы, — ему не терпелось взглянуть на Арарат, а из Ленинанка Арарат не виден.

Он появился в нашем арабкирском квартале как был, в одном костюме. Не было у него никаких вещей, только позолочен-

ный портсигар в кармане пиджака. Жилье он себе искал недолго, выбрал первый же дом, окна которого смотрели на Арарат. Кстати, все дома нашего квартала обращены в сторону Арарата, и в какую бы рань мы ни вставали, гора, уже успев умыться росой и причесаться, встречала нас и весь день не отходила ни на шаг. Но парон Акоп не умел наслаждаться Араратом издалека. Из-за желания быть к нему ближе он навлек на себя подозрение, за ним установили слежку, и в один прекрасный день агенты госбезопасности вызвали его на конфиденциальный разговор. Так было принято в те времена.

— Почему вы оставили жилплощадь, предоставленную вам в Ленинакане, и переехали в наемную квартиру?

— Чтобы видеть Арарат каждый день.

Итак, косвенная улика найдена, в соответствии с этим и продолжился разговор:

— Э-э, братец, тут что-то не так, ты нам зубы не заговаривай, неспроста ты про Арарат талдычишь, видать, границу перейти собрался...

В ту же ночь его арестовали. Наверное, невыполнили они плана по человекозаготовкам...

Жена ему письмо за письмом из Египта отправляла, корила все, что живет, мол, в свое удовольствие, о семье и думать не думает, открытки даже не отправит. Откуда ей было знать, где находится несчастный ее муж?

Парон Акоп вернулся после смерти Сталина и поселился в тех же комнатах. Хозяин дома за это время успел женить сына, свободного места и вправду не было, но уступил настоятельным просьбам армянина-репатрианта. А как же иначе, если даже сибирские морозы не остудили пыла парона Акопа к Арарату!

Хоронили мы его не так, как принято у христиан. Мы предали его земле согласно его завещанию. На кладбище нашего Нор Зейтуна все могильные плиты смотрят на восток, надгробье парона Акопа смотрит на Арарат...

Синие каменные глыбы (царь Трдат, выбирая наиболее прочные и крепкие, таскал такие на плечах для строительства Эчмиадзинского собора) постепенно отступают, появляются разноцветные домики международного альпинистского лагеря. Впереди развевается флаг Евросоюза, но выше всех остальных, разумеется, турецкий. Армянского флага нет, собственно, здесь никто и не помнит, что Арарат — армянская гора, а если кто и помнит, не придает этому никакого значения.

Наш Гагик, который еще в Игдире приобрел карту вилайета и отмечает на ней каждый пройденный километр, неожиданно вдруг заявляет:

— Турки поменяли название. На их языке он означает “тяжелая гора” — Агр, Агрдаг...

— Ошибаешься, — вмешавшись в разговор, Жанетт еще больше расстраивает и его и нас. — Истинное значение слова “агр” — боль. Это они специально, чтобы сделать нам больно.

Выпрыгнуть бы из машины, отвлечься от этих разговоров и бегом, на одном дыхании подняться на вершину Арарата. Положим, поднялся. А дальше что? Крикнуть, что благую весть принес? Вот и Карабулаг показался. Гора же так близко, что решаем вместе с ней сесть за стол.

Очевидно, Акори местом своего расположения и с виду была такой же деревней, как и эта. Те же дома с четырехгранной бревенчатой кровлей, большей частью обветшавшие, превратившиеся в груды развалин. Где мастера, которые подняли бы их из руин? Нет их. А что до местных авторитетов, непонятно: то ли они озлились на беспомощность собственного населения, то ли их распалило от вида расположенных напротив туфовых многоэтажек Арташата и Двина, и, изыскивая средства, стали они строить ядовито-яркого цвета особняки, с тем чтобы с той стороны Арарата посмотрели и лопнули от зависти.

На развилине Карабулага, у кромки журчащего ручейка, накрываем стол. Все у нас есть: лаваш, сыр, копчености, дыня, арбуз и коньяк. Какой же армянин отправится в дорогу без коньяка! Тамада, конечно, наша вечная любовь — Арарат. Необычайно помолодевший, словоохотливый, речистый, он каждого из нас наставляет в отдельности:

— Вы у себя дома, так что ешьте, пейте, говорите по-армянски, говорите громко...

Хотим, но не можем, и голоса наши еле слышны...

Между тем наше пиршество затянулось (на самом деле это и не было пиршеством, просто трудное и долгое расставание с Араратом), и женщины почувствовали естественную потребность сбегать кое-куда. Я подозвал к себе мальчика, который брал воду из артезианского колодца, и постарался объяснить ему, что нужно нашим ханумам. Мальчик в недоумении посмотрел сперва на меня, потом в их сторону и побежал к своей матери. Мать внимательно выслушала сына, повела плечами, позвала свекровь. Невестка со свекровью пошептались, жестами подозвали наших женщин и повели к загону для скота. Знаю, мама, могу предпо-

ложить, о чем ты думаешь, читая эти строки. Я ничего не забыл из отцовских и твоих рассказов о репатриации 1947 года. Вас привезли в близлежащую от Кировакана (ныне Ванадзор) деревню Гшлаг. Хотя почти в каждый дом этой деревни и пришла похоронка с фронта, однако сельчане всем миром отпраздновали ваше прибытие. Отца, не знавшего местных обычаев, поразило, каким образом тамада успел за несколько часов разобраться в нем настолько хорошо, что, поднимая бокал за его здоровье, довольно обстоятельно отмечал его достоинство, в особенности патриотизм.

Тосты, как обычно, становились все длиннее, и ближе к расцвету отец ощутил такую же потребность, что и наши женщины в Карабулаге. Когда он деликатно намекнул об этом хозяину, тот проводил его во двор и, широко разведя руки, сказал:

— Брат мой Назар, вот наши поля и пастбища, дарим все тебе. Делай что хочешь и где хочешь.

Все верно, мама, как верно и то, что ты спустя годы, живя в Ереване, не забывала добросердечных гшлагцев, и каждое лето мы, нагрузившись до отказа подарками, ездили к ним в гости. Шли годы. Мы стали очевидцами того, как постепенно Гшлаг преобразался в благоустроенный, красивый поселок, переименованный в Жданов, а потом и вовсе слился с Ванадзором. Интересно, каким был бы Карабулаг, останься он у армян? Не стоит, однако, предаваться фантазиям, поскольку нас лишили права обустроить свою страну.

Кто они, эти двое, — пожилой мужчина с подростком, что бредут по пыльной улице и, завидя нас, останавливаются, с нескрываемым интересом дикарей рассматривают нашу дорожную одежду, саквояжи, наш щедро накрытый стол? В конце концов мужчина, очевидно не сумев сообразовать увиденное с собственной бедностью и нищетой, прошипел:

— К добру ли, что-то они часто стали сюда наведываться, видно, много их развелось.

Понимаешь, мама, на что он намекал? Мы не реагируем. Мкртыч протягивает мальчику сочный ломоть арбуза. Тот колеблется, берет и испуганно смотрит на отца. Отец тут же выхватывает из рук сына кусок. Нам кажется, что сейчас он швырнет его на землю, распочет, но нет, единым духом уплетает сам. Сильно проголодался, видно.

На подступах к Баязету спустило колесо нашего автобуса. Станции техобслуживания поблизости нет, группа, естественно, в тревоге, многим кажется небезопасным провести ночь в пустыне.

ном поле, а по-моему, случившееся как нельзя кстати и ко времени. Я разлегся на траве и уставился на Арарат. Потерявший надежду и разочарованный в действительности, уповаю на наши мифы, взываю к Мгеру Младшему*. Почему только к нему? Все мы со дня своего рождения идем к Арарату. Идем, потому что верим, что придем однажды.

Ван
28 авг., 05

В этой жизни наш Ван, как на том свете — рай. Помнишь, мама, так говорили наши соседи-васпураканцы.

И значит, мы держим путь в рай. Рекламы появляются уже на подступах к городу. Повсюду мелькают фотоплакаты с изображением озера Ван. В Карсе гвоздем туристического сезона был Ани, здесь — Ахтамар. Наверняка наше архитектурное искусство прибыльно для новых хозяев. Или, пожалуй, призрак Евросоюза проник и в эти дали: на улицах огромные, с человеческий рост, полотнища на пяти языках удостоверяют, что правительство, взяв на себя обязательство протезировать монастырю, завершило его реставрацию. Однако ясно, что для властей не столь важно было восстановление памятника. Используя в своих интересах удобный момент — реставрацию, они постарались уничтожить последние армянские следы. Исчез даже крест, венчавший купол. Возможно ли представить армянский храм без символа христианской веры?

В центре города, точнее, на перекрестке главной улицы Джумуриет нас встречает — как ты думаешь, мама? — знаменитый ванский кот. Сложив хвост и напыжившись, важно восседает он на каменном пьедестале. Заметив на улицах Еревана с виду самодовольного прохожего, отец, помню, тянул меня за рукав и, посмеиваясь, говорил:

— Смотри, он похож на ванского кота.

Однако же кот этот, его скульптура в убранстве, изобилующем элементами декоративного искусства Востока, показался мне каким-то чужим. Во всяком случае ни в городе, ни в близлежащих деревнях мы так и не повстречали настоящего ванского кота, с глазами разного цвета. Мои попутчики повсюду — в цент-

* *Легенда говорит, что Мгер Младший — герой армянского эпоса, добровольно заключил себя в скалу и ждет часа, чтобы выйти и освободить свой народ.*

ре города, на Ахтамаре, в монастыре Варага — оставляют странное впечатление на местных жителей не только потому, что ищут ванского кота. В знойную летнюю пору любой купается в озере, чтобы освежиться, мы же так погружаемся в прозрачную голубизну, словно принимаем обряд крещения. Те, кто испытывает жажду, просто пьют воду, мы же пьем, как причащаемся, еще и наполняем бутылки и везем ее в разные концы света: в Америку, Канаду, Армению, Австралию, стараемся доставить ее ванцам в надежде утишить их боль и тоску.

Исходив город из конца в конец, мы и не заметили, как добрались до крепости. Город в данном случае не соответствует, конечно, нашим традиционным представлениям: отсутствует Центр (Кахакамедж), нет Айгестана, Хачпохана, Айкаванка, нет церквей св. Богородицы, св. Петроса, св. Погоса, св. Эчмиадзина, св. Степаноса, св. Вардана, св. Саака, Циранавор; школ Ерамян, Сандухтян, Центральной, нет Учительской семинарии.

Между тем известно, что в Васпураканской губернии с незапамятных времен насчитывалось более пятисот городов, поселков и деревень, заселенных армянами. Лишь дикая ненависть младотурок к иноверцам могла зародить мысль вытравить из истории, вычеркнуть из памяти людской целый народ, стереть с карты мира землю армян.

Самое страшное, что нашлись приспешники, заявившие о своей готовности совершить геноцид. Не случайно, что именно в 1915 году правителем Ванского вилайета был назначен Джемдет-бей. Он, чтобы по возможности беспрепятственно и быстро достичь цели, решил в первую голову ликвидировать наиболее известных национальных деятелей. Вероломным образом был убит Ишхан — Никогайос Микаелян, затем внезапно арестовали и заключили в тюрьму депутата турецкого национального собрания Врамяна — Оника Дердзакяна. И когда глава Ванской епархии архимандрит Езник явился в губернское управление, с тем чтобы выяснить причину насильственных акций, Джемдет прямо заявил ему:

— Принято бесповоротное решение: эта страна или останется армянам, или она станет нашей...

К счастью, он не успел уйти далеко. Остававшиеся на свободе армянские деятели решили объединить народ и организовать самооборону. Но два армянских квартала — Айгестан и Мичнаберд оказались в окружении, связь с ними была прервана. Армяне не растерялись, сразу же организовали военный совет, который взял на себя руководство боевыми действиями и образовал органы — по распределению боеприпасов, продовольствия, су-

дебные, женский “Красный крест”. Айгестан был разделен на семь военных зон. Каждая зона имела своего начальника. Затем были уточнены семьдесят три главные позиции, откуда велось непрерывное наблюдение за передвижениями турок. Военные столкновения не носили откровенного характера, не были еще повсеместны, но армяне усиленно готовились к самообороне. Строители, разделившись на группы, трудились днем и ночью: строили оборонительные сооружения, рыли и укрепляли окопы, налаживали внутреннюю связь. С этой целью они пробивали стены домов и строили подземные переходы.

Шестого апреля военный совет обнародовал первое сообщение, в котором содержались призывы хранить мужество, дисциплину, экономить патроны и, самое главное, не нападать первыми. Но как могли повстанцы не быть нападающими? На следующее же утро из ближайших деревень группа женщин с детьми, спасаясь от гонений, бежала в город. Они попытались пробраться в Айгестан, но турки похитили их. Несколько человек из повстанцев бросились следом, но их застрелили на месте. Завязался бой. С высоты, где находилась казарма, вели обстрел двенадцать турецких пушек, звучала боевая музыка в исполнении айгестанского духового оркестра. С песнями, игрой на трубе и барабане, чтобы поддержать боевой дух фидаинов, молодые музыканты шли на поле боя.

Смерть все равно нам суждена,

Изменим ли природу?..

Блажен кто пал за свой народ,

За родины свободу...

М.Налбандян (перевод В.Звягинцевой)

Первый бой фактически завершился поражением турок. И в Айгестане и в Мичнаберде армянские позиции были неприступными. Они оставались неприступными и во все последующие дни. Силы повстанцев и вправду были ограничены, но бок о бок с ними сражались женщины и дети. Сформировались летучие юношеские отряды. Презрев угрозу смерти, подростки пересекали линию огня, доставляли на позиции боеприпасы, срочные приказы, сообщения. Однажды молодой повстанец, добравшись подземным ходом до двухэтажного здания городской полиции, облил его керосином, поджег и целым и невредимым вернулся в Айгестан. В центре города шестнадцатилетний юноша таким же манером устроил поджог здания суда. В ответ турки ужесточили

меры подавления. Напротив армянских позиций они установили привезенные из Берлина новые пулеметы. Должность командующего офицерским составом крепости доверили приглашенному из Венесуэлы наемнику Рафаэлю де Ногалесу. Но все безрезультатно. Убедившись, что боевыми действиями армян не сломить, турки изменили тактику: позволили беженцам из окрестных сел поселиться в Айгестане, полагая, что в осажденном городе вскоре возникнет угроза голода и эпидемий. За этот период численность населения Вана возросла более чем в три раза — с 23-х до 70-и тысяч. Защитники города кое-как справлялись с голодом. Главная угроза заключалась в том, что боеприпасы были на исходе. Но и в осажденном положении, лишённые помощи, оторванные от мира ванцы не теряли присутствия духа. Директор центральной городской школы Микаел Минасян, химик по специальности, собрал оружейников города и в короткие сроки организовал арсенал, где стали изготавливать порох, пули, гранаты, обновлять оружие. Отлил даже две пушки, но они не успели выстрелить...

Третьего мая перестрелка продолжалась до полудня, затем внезапно на турецких позициях воцарилась тишина. Командиры позиций, получив добро у военного командования, перешли в решительную атаку. Удивительно, но даже на подступах к крепости и казармам повстанцам никто не оказывал сопротивления. Стоявшие на постах редкие часовые тут же бросали оружие и сдавались. Выяснилось, что еще накануне пришло известие о приближении русской армии. Ночью турки оставили позиции и обратились в бегство. И ранним утром следующего дня взвился над акрополем Вана армянский национальный триколор. И пока защитники Айгестана и Мичнаберда праздновали победу, а Фанос Терлемезян (один из крупных армянских художников) держал речь перед резиденцией главы епархии, по улицам города уже несли вскачь добровольческий отряд Хечо, за ним полк Дро, позже в город вошла русская регулярная армия во главе с командармом Николаевым. Именно он и одобрил назначение Арама Манукяна правителем Вана. Тогда же Ван был провозглашен независимым.

Однако непредсказуемы и непонятны истинные цели великих держав. Спустя семьдесят дней после этого исторического события царская армия неожиданно начала отступление и передислоцировалась в Восточную Армению двести тысяч армянских воинов-победителей...

На виражах дороги, ведущей в ту самую, но теперь уже полуразрушенную ванскую крепость, то и дело путается у меня под

ногами какой-то турецкий мальчишка. И чтоб заработать две-три лиры, искажая историю, с пафосом говорит о великих победах, одержанных турками. Я отдаю ему долгожданные несколько лир, но когда вижу, что, набрав в легкие воздух, он собирается бахвалиться дальше, перебиваю:

— Не рассказывай ничего, ты только скажи, что произошло здесь в 1915 году и кто жил в этих опустевших долинах?

Парень в неподдельном удивлении хлопает глазами:

— Аллах свидетель, не знаю, эфенди.

Карабкаюсь на самую высокую башню крепости. Турецкий флаг забрался выше меня, достиг самых верхних зубцов карниза.

Вдруг в голову приходит мысль: взять бы сорвать да вышвырнуть к чертям этот флаг и взамен поднять наш триколор, вот только соберусь с духом — ведь хватило же мужества молодому участнику героической битвы... Нет, слабо мне. Однако надо уже спешить вниз. Некоторые из группы отказались подняться наверх (наверное, не хотели видеть то, что, увы, увидел я). Спустившись, останавливаюсь у крепостных ворот и слышу, как со стороны самой видной ниши урартский царь Сардури Первый — “Лапсуса сын, великий царь, властитель мира, славный предводитель народа, бесстрашный перед лицом врага, карающий ему не покорившихся, царь царей Сардури, повелитель всех податных царей” — наставляет: “Эти камни принес я из Алджиума и эту крепость построил. И кто эти камни переместит, кто попробует эти камни разрушить, тот удостоится гнева божьего”. Так где же твой бог, царь царей? Где гнев божий?

В открытом кафе устраиваюсь рядом со своими попутчиками. Не разговариваю, молчу. О том, что творится со мной, они, наверное, догадываются по моему виду. Старший официант, который издали наблюдает за нами, заметив прибавление за столом, подходит к нам и с задушевной улыбкой спрашивает, мол, откуда мы?

Тикин Астхик, которой еще в Армении посоветовали не распространяться на национальные темы, особенно в Ване, ан своем усовершенствованном в Бостоне английском отвечает, что мы из Соединенных Штатов. Официант высокого роста, с виду исполненный благоразумия молодой мужчина с небрежно спускающимися на плечи длинными волосами. Студент, наверное, приехал из столицы домой на летние каникулы деньги заработать. И тут я будто почувствовал обиду, мама. Как же это так, даже моя бабушка не утаивала, какой она национальности, когда на берегу Арацани в песках обучала тебя армянскому алфавиту. А я, мужчина, должен молчать? Куда это годится?

— Армяне мы, из Армении, — с вызовом бросаю я.

Старший официант долго смотрит мне в глаза и, вяло улыбаясь, отходит. С полдороги оборачивается и наставительно заявляет:

— Можете заказывать что пожелаете. Все оплачено.

Гущаются сумерки, густеет и толпа вокруг крепости. На одном из возвышений играет симфонический оркестр в составе молодых людей во фраках и бабочках, на другом девушки в национальных костюмах исполняют народные песни. Они напоминают мне айрены* родного Акна. Происходящее здесь в Ереване мы называем общегородским праздником. И, говоря словами Гамлета, если бы век не расшатался и время не вывихнуло сустав, интересно, как бы мы отпраздновали, отметили прямо здесь 3000-летие основания Вана?.. До этого дня, кстати, оставалось совсем немного. Нет-нет, мне не кажется... На погруженном в сумрак, почти невидимом акрополе неожиданно начинается выступление хор Чекиджяна, с крепости напротив звучит “Маратук”, затем один за другим выступают детский ансамбль “Аревик”, юношеский “Шикарные девушки”, гусанский “Саят-Нова”; далеко-далеко разносятся голоса Шушан Петросян, Тата, Арамо, Андре.

— Пора уходить...

Мы довольно далеко отошли от крепости, когда нас в толпе туристов настиг старший официант.

— Я курд, — оглядываясь по сторонам, заявляет он тихо, но решительно. — Знаю, что ваш народ стал жертвой геноцида, знаю также, что в этом преступлении участвовали и курды. Я прошу прощения у вас от имени моего народа и не хочу, чтобы вы уезжали с печалью в сердце. Справедливость восторжествует, и придет день, когда, объединившись, мы победим.

Молча мы пожали друг другу руки. На самом деле, ведь Ванское героическое сражение не завершилось битвой 1915 года в Ване. Французский кардинал, глава Орлеанской епархии отец Туше в 1917 году в парижской церкви Мадлен сказал во время одной из своих проповедей: “Если союзные страны после этой войны не даруют Армении независимость и армяне взорвут Константинополь, я, слуга церкви, отпускаю им этот грех”.

Кардинал стал пророком...

24 сентября 1981 года четверо молодых армян в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет — Вазген Сислян, Геворг Гюзе-

* Вид народных песнопений.

лян, Арам Басмаджян, Акоп Джулфаян захватили здание турецкого консульства на проспекте Госмана в Париже и, взяв в заложники около шестидесяти человек, предъявили политические требования. Это была первая, под названием “Ван”, боевая операция освободительной армянской тайной армии АСАЛА. Раненных во время перестрелки Вазгена Сисляна и Акопа Джулфаяна доставили в больницу. Геворг Гюзелян и Арам Басмаджян на протяжении всей ночи вели переговоры и только под утро согласились освободить заложников с условием открытого суда над собой.

Фактически спустя шестьдесят лет после суда над Согомоном Тейлеряном в крупнейшей столице Европы состоялся судебный процесс, на котором был поднят вновь вопрос геноцида, раскрыты еще раз злодеяния турецких властей, озвучено требование возмещения ущерба. На заседаниях парижского суда присяжных (длившихся более одной недели), кроме обвиняемых борцов и их матерей, выступали армянские и турецкие историки, политики, правоведаы, а также старики, пережившие геноцид. Обвиняемые Вазген Сислян, Геворг Гюзелян, Арам Басмаджян и Акоп Джулфаян фактически выступали как обвинители, объясняли, что они не террористы, а борцы за справедливость. И решились они на такую акцию с целью напомнить миру о величайшем преступлении начала века, о том, что ответственные до сих пор не осуждены, а пострадавшие не получили возмещения. Как было решено заранее, 24 января 1982 года, на первом заседании суда от имени боевой группы “Ван” с заявлением выступил Геворг Гюзелян: “Настоящим заявлением еще раз удостоверяем, что полностью берем на себя ответственность за захват турецкого консульства 24 сентября 1981 года и хотим объяснить, как вы сейчас того потребовали, господин председатель, причины случившегося. Мы решили действовать подобным образом, поскольку эта форма борьбы вполне соответствовала нашим взглядам на разрешение Армянского вопроса и освобождения Западной Армении, тем более что на протяжении нескольких десятилетий наши старания действовать мирно, не прибегая к оружию, оставались безрезультатными и убедили нас, что только вооруженная борьба может разрушить стену молчания и только с ее помощью мы достигнем нашей цели. Мы родились поздно, спустя много лет после геноцида, но считаем себя его жертвами. Жертвой геноцида является весь армянский народ, поскольку Армянский вопрос прежде всего вопрос территорий. Потому и, пока не освобождена историческая Западная Армения, мы не считаем нашу борьбу завершенной. Мы дали клятву перед всем человечеством стать бор-

цами за справедливое решение Армянского вопроса и сейчас в этом зале подтверждаем нашу решимость оставаться верными клятве”...

И когда девятый присяжный обратился к нему с вопросом, почему АСАЛА решает свои задачи террористическими способами, судья резко оборвал его: “Вы, наверное, заметили, что я избегал употреблять слово “террорист”, следует и вам воздержаться... Любой человек в определенный момент в той или иной степени террорист в отношении другого. В настоящее время существуют страны, правители которых на определенном этапе своей деятельности были названы “террористами”. Ограничимся, значит, определением “насилыственное действие”.

Судебное разбирательство продолжалось неделю, и когда председатель суда попросил обвиняемых встать для оглашения приговора, с мест поднялись все армяне, присутствовавшие в зале. Борьбу этих четырех молодых людей каждый армянин считал своей.

Хотя участники акции “Ван” понесли более суровое, чем предполагалось, наказание — их приговорили к шести годам тюремного заключения, но выходили они из зала суда, поднимая вверх и расставив указательный и средний пальцы рук. Ванское героическое сражение, однако, и на этом не завершилось. Геворг Гюзелян, выйдя на свободу, организовал отряд “Мецн Мурад” и участвовал в освободительной войне Арцаха. Героическая ванская битва продолжается.

Шушанц
29 авг., 05

*Аллах у акпар,
Ла ил ла ил Аллах...**

Полный ужаса, дрожа, вскакиваю со сна. О чем это голосит муэдзин? Уж не послание ли оглашает о выселении 1915 года? Шарю в темноте, нахожу выключатель. Пять часов утра, ровно. Нет, не кошмар это, тот же голос и так же хладнокровно продолжает:

*Аллах у акпар..
Мухаммед расулла...***

* Нет бога выше Аллаха.

** Нет бога выше Аллаха, // И Мухаммед его пророк.

Не помню я, мама, когда и как уснул. Сон отбило с первого же дня путешествия, ворочаюсь в постели, мучаюсь, не могу заснуть. Даже когда засиживаюсь допоздна, пишу тебе эти длинные, подробные письма, сна все равно ни в одном глазу, — как только тушу свет,* перед глазами возникают Зограб, Сиаманто, Варужан и Севак с размозженными черепами, расчлененными телами. Наверное, потому, что — и это ведь не фантазия — их убивали где-то здесь, поблизости. Мучимый бессонницей, встаю посреди ночи, выглядываю из окна и вижу, как на ночном небе, широко разинув рот, смеется мне в лицо полумесяц — ятаган. Если бы ты была жива и со мною вместе поехала в Западную Армению (о чем мечтала всю жизнь), скажи, как ты реагировала бы — не знаю даже, как назвать, — на этот психоз или безумие? Стерпела бы?

Наш сосед Ваагн Давтян всю жизнь, ты знаешь, терзался тоской по Арабкиру и всем своим творчеством — стихами, прозой, даже публицистикой увековечил чудный этот город Малого Айка, где армяне жили с древнейших времен.

*Если б в детство вернуться я мог, на Евфрат,
Если б чудом попал я туда,
Я бы нюхом нашел тебя, маленький дом,
Я б тебя отыскал без труда.*
В. Давтян (перевод Г. Плисецкого)

Совсем недавно другой наш сосед, адвокат Филипп Газарян, ездил в Старый Арабкир, и когда вернулся, я решил навестить его. Поприветствовать, поздравить со счастливым возвращением. Но это так, ради профформы, на самом деле мне хотелось посмотреть ему в глаза. Они ведь видели Воскегетак, ущелье Акна, склоны Тавра. Но Филипп Газарян долго молчал, и я, не вытерпев, взорвался:

— Почему молчишь?! Рассказывай!..

Он принес бутылку коньяка, бокалы.

— Пей...

И первым выпил сам. А когда я повторил тот же вопрос второй и третий раз, сказал:

— Не удивляйся, но слава богу, что Ваагн умер и не поехал со мной в Арабкир, как мы обещали друг другу.

* Западноармянские писатели, которые были зверски убиты во время геноцида 1915 г.

— Почему ты так?..

Филипп снова наполнил бокал, залпом осушил его и продолжал:

— Представь, их дом разрушили до основания, церковь, что была в их квартале, взорвали, не пощадили даже тутовые деревья. Все, что являлось сущностью моего старшего друга, душой его творчества, уничтожено, потеряно, не существует. Я даже засомневался: а было ли это когда-нибудь? Ну, а теперь представь, что было бы с ним, если б он увидел все это собственными глазами, да еще на закате жизни...

*Нет бога выше Аллаха,
И Мухаммед его пророк...*

И что за мулла такой, который не поленился посреди ночи подняться на минарет и повторять одни и те же слова все тем же металлическим голосом! Позже я узнал, что ни один чалмоносец-священнослужитель не лишает себя сна: азан разносится через громкоговорители...

Аллах...

Стучат в дверь. Радуюсь в надежде избавиться от кошмаров, бегу открывать. В дверях стоит Грант. Я забыл, что мы договорились отправиться вдвоем в Шушанц, деревню его отца. Не знаю, почему не захотел он идти туда с группой. Человек сдержанный и уравновешенный, он, видимо, все же не очень рассчитывал на свое самообладание. Спускаемся в фойе, а наша группа уже в автобусе и в полной готовности дожидается нас. Посещение отчего дома тяжелое испытание для любого, и, понимая это, группа не захотела оставлять Гранта в одиночестве. Ван постепенно просыпается и не замечает нас. И вообще не знает о нашем существовании. Город этот, как и многие города мира, имеет длинные улицы, проспекты, множество развлекательных заведений, отличается пестротой транспортных средств. Турки же, как и все люди, гостеприимны, доброжелательны и предупредительны в общении. Я внимательно наблюдаю за галдящими группами спешащих в школу подростков и, понятно, ищу кудрявого Гургена Маари. Ищу Наири Зарьяна, Ваграма Алазана — всех тех армянских писателей, кто написал о Ване трогательные романы и даже серию повестей. Возможно, это поколение переживших геноцид писателей создало иллюзорный образ родины и поверило в собственное творение. И старается теперь, чтобы и мы в это поверили.

Но только ли писатели? Живший по соседству с нами ванец Мкртыч-ага, когда приходил к нам в гости, кто бы ни находился у нас дома в это время и о чем бы ни шла беседа, незаметно переводил разговор на излюбленную тему — Ван. С тем чтобы потом похвалиться артаметскими яблоками, айгестанским сыром “жажик”. Уж не говорю о тарехе. Однажды мой приятель, мартуниец Ашот наивно спросил у него:

— Какая рыба вкуснее: наш севанский ишхан или ванский тарех?

В глазах у восьмидесятилетнего старика, известного своим мягким, кротким нравом, заметались молнии:

— Сравнил божий дар с яичницей!

Не возьму греха на душу, мама, Ван, конечно, не греза, он уже турецкий город. Вот он уже остается позади, и почти сразу взору предстает во всей красе, играя волнами, озеро. Из зыби его выплескиваются, устремляются навстречу Ахтамар, Аршеч, Хлат... Как же они истосковались по нам!

Море, отзовись, почему молчишь?..

Раффи (перевод подстрочный)

Тропинка, извиваясь, доставила нас на холм и внезапно пропала в зарослях. Водитель тормозит изрыгающий пыль и весь в пыли же наш автобус.

— И в какую теперь сторону?

— Налево, — приказывает Грант.

Дороги налево нет, но тут появляются вдруг из леса овчары.

— Давайте их спросим, не век же нам мучаться, — ропщут женщины.

— Кто лучше знает дорогу в нашу деревню, я или эти парни? — обижается Грант. — Езжай.

И мы едем.

Значит, по этим вот тропинкам, сквозь эти заросшие кустарниками горы и ущелья бежал в первый раз его отец. Добрался пешком в Восточную Армению. Пешком и возвращался. Второй раз, опять же пешим ходом, бежал еще дальше, в Ирак, но и думать не думал, и не поверил бы, что не вернется. Если б поверил, сошел бы с ума. Его сын Грант, родившийся в Басре, в одном из переселенческих беженских пунктов, получивший образование в Соединенных Штатах, до сих пор еще не теряет надежды вернуться на родину, не может смириться с потерей. Поживившись, они с Жанетт поселились в местечке, находящемся в семидесяти пяти километрах от Нью-Йорка, где не только не бы-

ло ни одного армянина, но и никого, кто имел бы хоть какое-то представление об армянстве. Однако своему сыну он дал имя Камк*, дочери — Ераз**. Вера, внутренняя убежденность у молодых супругов не были отвлеченной идеей. Они на самом деле были уверены, что силой своей веры и волей достигнут желанной цели. Естественно, они старались внушить детям чувство родины, знакомили их с историей страны. Дети их, можно сказать, росли с картой Армении Вильсона, национальным триколором и гимном. И однажды вот какой произошел случай. Класс, в котором учился Камк, как-то раз взяли на экскурсию в ООН. Учительница предложила каждому из учеников отыскать флаг своей страны. Камк, поискав, не нашел армянского триколора. В расстроенных чувствах он пришел домой и с плачем бросился в объятия матери.

— Не переживай, сынок, потерпи, придет этот день, — обнадеедила Жанетт сына. — Наступит он и для нас, и мы увидим наш флаг, — успокаивала она своего мальчика в глухие годы советского имперского режима. И этот день пришел. И они увидели.

С установлением независимости Камку представилась возможность устроиться на работу в Армении. Вскоре Жанетт с Грантом купили дом в Ереване.

— Говорил же, силой воли мы достигнем своей цели, — твердил Грант. — Это пока еще первое наше пристанище.

Вторым пристанищем для них стал Арцах, куда они — после освобождения — ездят часто и остаются там подолгу. Вот уже несколько лет время, проводимое на родине, Жанетт с Грантом делят на три периода. В один из периодов они путешествуют по Западной Армении, и так фактически каждый год. И это, как я понимаю, мама, достигнутое силой воли третье их пристанище. А каким будет четвертое?

Шушанц возникает внезапно. Деревня начинается со склона холма и, петляя и путаясь в садах, спускается к горным лугам.

— Какая там деревня... Столица! Престольный град! — хвастался Грант, когда мы бесцельно бродили по улицам ночного Еревана, чаще по излюбленному Грантом Кольцевому бульвару. — Уж не думаешь ли ты, что царь Сенекерим по случайности нарек свою любимую дочь именем Шушан, и она, согласно собственному завещанию, похоронена в Шушанце. Там же находят-

* Камк — воля.

** Ераз — мечта.

ся основанный апостолом Тадеосом наш Кармравор, монастырь святой Богородицы, церковь святого Геворга...

Фруктовые сады, разделенные один от другого узкими проходами, кончаются, уступая место развалинам армянских жилищ. Одна, вторая, третья... Грант, дорогой, где же гробница царевны? Где монастырь святой Богородицы и церковь святого Геворга? Негодяи! Если решили уничтожить все, так уничтожили бы и эти развалины. Кого вы хотите ими пугать? Дующие с Которского хребта и с озера Ван ветры гуляют в обнимку по улицам деревни, но чувствую, Гранту не по себе, ему трудно дышать.

— Оставьте меня одного, — говорит он.

Кто-то из группы уступает его просьбе, а кто-то нет, упрямится.

— Если не хочешь, и я не пойду с тобой, — говорю ему я, но он просит меня остаться. Надо ведь порасспросить, узнать, где находятся родник, кладбище...

Заметив нас на майдане перед мечетью, женщины прячутся, мужчины усмеваются, детвора же с шумом окружает нас. Дети здесь стыдливые, нет, они не просят “мани”, лишь с интересом рассматривают нас, прислушиваются к незнакомой речи.

— Кто знает дорогу к церкви или на кладбище?

Пожимая плечами, они смотрят друг на друга.

— Кресты... кресты они хотят, — смекнул кто-то, и все они, дружно подпрыгивая, кричат:

— Мы, мы!

Выбираю, как мне кажется, наиболее смышленных:

— Ты, ты и ты, вы трое. — Остальные уходят по своим делам.

Все трое, польщенные оказанным доверием, шагают впереди. Часто наш путь пересекают прозрачные ручейки. Журча, они спускаются с покрытых снегом горных склонов, образуя внизу небольшие озерца в каменных поилках.

— Из такой вот поилки брала воду по утрам моя бабушка. Мать моя, ты знаешь, дожила до девяносто шести лет, но сколько бы она ни пила воды, никак не могла насытиться. А я не сумел принести ей воды с ее родины. — Не говорю ему, что и я тоже не сумел.

Беру за плечо одного из парней.

— Как звать тебя?

— Абдулла.

— А тебя?

— Ниат.

— Тебя?

— Еомер.

Абдулла и Ниат живут в Шушанце, Еомер в Ване. Каждый год на летние каникулы Еомер приезжает в деревню к дяде. Своими повадками и одеждой он сильно отличается от остальных, и фактически он сопровождает нас.

— Вот и армянское кладбище.

Гранта словно к месту пригвоздило.

— Здесь похоронен мой дед. Последний, кому из нашего рода посчастливилось почивать на нашем деревенском кладбище.

Посчастливилось? Понятно, почему Грант не подходит близко. Кладбище разрушено. Вокруг могильных плит, которые турки перевернуть не сумели, зияют глубокие ямы — в них не то что рука, но и ребенок поместиться. Еомер чувствует на себе наши взгляды.

— Под этими крестами хранится золото. Поверьте, много золота...

Мы довольно далеко отошли от деревни, и я рискнул спросить:

— Ребята, а вы когда-нибудь видели армянина?

— Нет.

— И не слышали тоже?

— Видит Аллах, нет, не слышали.

— Абдулла, ты, к примеру, кто по национальности?

— Турок я, — выпячивает он грудь.

— И я, — заносится Ниат.

Еомер с выражением недовольства на лице:

— Почему вы говорите неправду? Я, например, курд.

Я так и полагал.

— А писать умеешь на родном языке?

— Только название нашей деревни.

— Напиши мне на память.

Берет у меня блокнот, авторучку и кое-как, неумело выводит незнакомыми для меня знаками — Шушанц. Его приятели напряженно следят за движениями авторучки, хохочут:

— Ошибся, ошибся...

Так, значит, и они курды, Еомер не врал. Но родной язык изучают тайком, точно так, как моя бабушка... Признаться, мама, я никогда не понимал, почему это ты, живя в Армении, с шепотом и боязливо декламировала “Свободу” Микаела Налбандяна:

Когда свободный бог в меня

Вдохнул дыханье человека...

М.Налбандян (перевод В.Звягинцевой)

— Это самый большой крест, что был в нашей деревне.

— Отец мой служил дьячком в этой церкви...

Удивленно оглядываюсь. На вершине холма, где мы стоим, нет даже тесаного камня. Но вид, конечно, изумительный: внизу у подножья холма с одной стороны — город, с другой — озеро. Грант рассказывал, что, когда звонили колокола святого Геворга, звон их эхом отдавался в Айгестане. Наклоняюсь, чтобы найти хоть какой-то обломок, осколок, хочу увезти с собой на память. Не нахожу. Нет ничего. Как это нет? Есть, много чего есть. Пониже, на бугорке, вырыта глубокая яма, в нее сверху катили фрагменты пилястров, капители, перебитые хачкары. Церковь сперва разрушили, потом зарыли. Мы, взявшись за руки, спускаемся в могильную эту яму, пытаемся зажечь свечу, но ветер ее задувает. Собираемся разжечь ладан, опять же ветер мешает... Ребята выстроились в ряд, плечом к плечу, смотрят на нас и ничего не понимают. Крайне удивлены.

— Поехали, — вдруг заявляет Грант и торопливо, что совершенно ему не свойственно, будто убегая, направляется к автобусу. И даже не оборачивается. Грант, который целый год ждал этого дня. А много лет назад, когда поездка в Западную Армению казалась несбыточной мечтой, он добрался до Дейр-эз-Зора. Конечно с Жанетт. Они всегда и всюду вместе. Супруги прибыли во вновь отстроенную в Дейр-эз-Зоре часовню поздно вечером и, невзирая на уговоры священника подождать до утра, решили пуститься в дорогу. Не знаю сколько — один, два или три часа прошагали они, беседуя с душами полутора миллионов убиенных и замученных. Не в такие ли мгновения кажется, что время остановилось? Опомнились, когда совсем стемнело. В пустыне ночь наступает неожиданно. К счастью, по дороге навстречу им попались пограничники. Один из них, скрупулезно изучив под фонариком лица Жанетт и Гранта, сказал:

— Я знаю, что вы ищете, следуйте за мной.

Он привел их к яме, по форме напоминающей воронку, и заявил:

— Вот здесь лежат кости ваших предков, только смотрите не задерживайтесь, чтобы смерч не настиг...

Грант быстро достал из ямы какую-то кость — по-видимому, это была чья-то ключица, — заботливо завернул ее в свою рубашку.

— Зачем ты себе проблемы создаешь? — возмутилась Жанетт.

— Подумай, сколько до Нью-Йорка предстоит пройти пограничных пунктов.

— А если это кость моей бабушки? — ответил ей Грант.

— С чего ты это взял? Ведь тебе известно, что шушанцкий караван до Дейр-эз-Зора не дошел.

— Не имеет значения, здесь все мне родня...

Опасения Жанетт оправдались на первой же пограничной заставе. Таможенник, обнаружив кость, немедленно обратился к своему начальству. В его глазах молодые супруги выглядели чуть ли не международными террористами, по меньшей мере — опасными контрабандистами. Начальник, однако, едва взглянул на конфискованный предмет и, даже не подняв глаз на Гранта и Жанетт, спросил:

— Армяне?

Они кивнули.

— Возвращаетесь из Дейр-эз-Зора?

— Да, мы...

Обратившись к подчиненному, начальник приказал:

— Дай разрешение на вывоз.

Эти мощи, мама, я видел в церкви святого Григория Просветителя в Нью-Йорке и испытал потрясение, но не от вида разложившихся костей... Страшно стало, что и спустя сто лет мы не можем предать земле останки наших предков, совершить первичный христианский обряд погребения.

Прав был, значит, наш сосед Ованес-ага. Помнишь ли ты этого богобоязненного старика с глубоким шрамом от турецкой секиры на лбу? Раненый, он сорок дней прятался в колодце, молился и выжил. Всякий раз, знакомясь с кем-то из репатриированных своих соотечественников, он спрашивал:

— В изгнании был или нет?

— Был, конечно.

— Родных своих предал земле собственными руками?

Если ответ бывал положительным, Ованес-ага радовался, но и преисполнялся доброй завистью:

— Счастливый ты человек.

Сопровождаемые Абдуллой, Ниатом и Еомером, мы короткой дорогой выходим прямо на майдан, но нашей группы там нет. Оказывается, хозяйка дома, что рядом с мечетью, пригласила чужестранцев в свой сад (да-да, мама, и в Шушанце, и в Ване, и вообще повсюду в Западной Армении нас считают чужестранцами), негоже оставлять людей на улице. Мы застали Арутюна, Хильду, Астхик и Мкртыча рассевающимися на циновке, как это принято в селах Восточной Армении. Они наслаждались крошкой, приготовленной на мацуне. Я проголодался. Переломив кусок теплого, из тонира, хлеба, кладу меж его половинками свежевзбитое домашнее масло, собираюсь еще и меду поверх капнуть, когда вдруг замечаю молодую сноху хозяйки. Она сидит,

поджав ноги, в тени старого тутового дерева и кормит грудью ребенка, спрятав под косынкой нижнюю половину лица. Кусок застрекает у меня в горле; не понимаю, что происходит со мной, я одним прыжком оказываюсь рядом с ними, хватаю ребенка за ноги, головой бью его о камни. Нет-нет, вздеваю живьем на вертел и на глазах у матери жарю на огне. Закалываю его прямо на руках у матери и заставляю, чтобы она попила пенистой его крови. И потому, что она не может этого сделать, лью кровь ей на голову.

Я подошел к запеленатому новорожденному, прильнул к щеке и поцеловал. Зардевшись, мать нежно прижала дитя к груди. В эту минуту она была так похожа на мадонну с полотен художников Возрождения... Через несколько месяцев я оказался в Севре. В этом маленьком приятном французском городке в 1920 году был заключен мирный договор, согласно которому нам возвращались наши губернии. В Севре я встретился с одним турком, из интеллигентов. Каждый год 24-го апреля он вместе с французскими армянами участвует в марше протеста против турецкой политики отрицания и непризнания геноцида. Сгорая от стыда, я рассказал ему, что испытал в Шушанце, о чувстве, обуявшем меня при виде молодой турчанки, кормившей грудью младенца.

Он спокойно, можно сказать равнодушно, выслушал меня, сказал:

— Что было, то было давно... ну, убивали вас, так надо было и вам убивать.

— Мы? Не умеем мы детей забивать...

— Столько лет вас этому учили и не научили?..

Уже далеко за полночь, я закончил свое очередное письмо, лежу в постели, но не могу заснуть. Кажется, стоит закрыть глаза, и в темноте раздастся тягучий голос:

Аллах у акпар...

Только никак в толк не возьму, бывает молитва металлической? А если и бывает, слышит ли ее Аллах?

Слышит, наверное.

Нарек
30 авг., 05

Волны озера отступают, бегут назад. Ахтамар, не умея скрыть печали одиночества и заброшенности, отдаляется, становится все

меньше и меньше. Наша извечная гордость, он, невзирая на поднятую вокруг реставрации шумиху, никогда не казался таким беспомощным и беззащитным. Побывав на острове, мы увидели изрешеченные пулями различного калибра стены монастыря. Не найдя других мишеней, наводчики били по изображениям ангелов. Кому мы оставили израненную, истекающую кровью нашу святыню?

Автобус заворачивает налево. Холмы здесь становятся выше. Сегодня мы гости Гагика, направляемся в Нарек, в магическую обитель васпураканской земли, где творилась — трудно сказать по-другому — самая блистательная книга, когда-либо написанная армянскими буквами. Книга названа “Нарек” по месту ее рождения.

*Скорбного сердца стон, вопль жалобы моей,
К тебе, всеведущий, в мольбе возношу...*

Г.Нарекаци (перевод В.Микушевича)

Со мной последний номер журнала “Франс-Армени”, который, сам не знаю почему, я везу с собой. Очевидно, чтобы рассказать — неизвестно кому, — что неделю назад в Париже умер прозаик и драматург Жан-Жак Варужан. Казалось бы, в многочисленных его романах и пьесах не было ничего армянского, но в завещании он просил высечь на его надгробной плите год рождения — 1927, а год смерти — 1915. Жан-Жак Варужан был франкоязычным писателем, однако он не мог не знать, что мы, армяне, все, когда бы ни родились, однажды — в 1915 году — уже умерли. И пока не восторжествует историческая справедливость, будем умирать каждый день и каждый час. Если б только было возможно, чтобы 1914-й не кончился или сразу наступил бы 1916-й, чтобы 1915-го не было вообще...

Беспокойной, нетерпеливой мыслью своей, мама, я, обогнав наш автобус, устремился в Нарекаванк, в церкви св. Сандухта и св. Богоматери. Еще в Ереване я дал клятву на коленях войти в часовню-усыпальницу Григора Нарекаци, поэта-творца, который давно переступил пределы своего отечества и своего времени. Кто даровал мне чувство гордости за то, что в ряду поэтических памятников, созданных Гомером, Данте и другими великими, возвышается и этот, сотворенный гением армянина. Есть ли подобные строки? Кем и на каком языке писаны?

*В пламень отчаянья, палящего душу мне,
Плоды вождлений моих звергаю, верный тебе:
Родительница грехов, кадильница — воля моя.*

Г.Нарекаци (перевод В.Микушевича)

...До самого горизонта тянутся зеленые нивы, виноградники, фруктовые сады, где растут гранат, инжир, миндаль, — так описывал дед Гагика свою деревню...

А вот и указатель, автобус замедляет ход, и мы читаем по складам: “Емишлик”. В переводе на армянский — “Сехастан” (от слова “сех” — “дыня”). Так переименовали турки название местности, где, по свидетельству Степаноса Асохика, еще в X веке учитель и родственник Григора Нарекаци — Анания Нарекаци — основал замечательную школу-академию, которая славилась многоопытными выдающимися преподавателями певческого искусства и словесности.

— Новые хозяева, когда переименовывали, наверное, имели в виду форму собственной головы, — шутит кто-то из задних рядов.

Шутки шутками, но у развилки появляется военный с автоматом. Заметив автобус, он поднимает руку, идет навстречу и, приблизившись, спрашивает:

— Куда направляетесь?

— В Нарекаванк.

— Куда?!

— В Емишлик, — быстро поправляемся мы.

Качает головой — не надо.

— Почему?

— В деревне не осталось ни одного турка. Там живут курды, все — бунтари, так что недолго и в беду попасть.

Представляешь, мама, дело дошло до того, что турецкий военный защищает нашу жизнь, защищает от курдов. Тот самый турок, который утащил тебя и хотел продать арабу за несколько лир, когда вы были в изгнании. И если бы не мой дед — твой отец, в поясе у которого были припрятаны золотые монеты, неизвестно, где бы ты оказалась и чьей матерью стала...

Мы стараемся объяснить турецкому офицеру, что приехали издалека, чтоб повидать родные края и увести с собой горсточку земли и каплю воды на память. Но для него все это, конечно, лишено смысла, однако он уступает нам:

— Езжайте, но знайте, я не гарантирую вашу безопасность.

По этой дороге, больше похожей на тропинку, было время, ходили Анания и Григор Нарекаци, сыновья Хосрова Андзеваци — писцы Саак и Ованес, которые переписывали и расписывали старые евангелия, а также книгу Месропа Маштоца.

Водитель тормозит у родника.

— Ехать дальше невозможно. Дороги нет.

Первым выскакивает из машины Гагик: долго, жадно пьет из родника, умывается. И уже не разобрать: вода струится по лицу или это слезы брызжут из глаз? Мы же атакованы детьми, не можем выйти из автобуса. С протянутой рукой они, толкаясь, просят милостыню и, не получив желаемого, начинают галдеть, кривляться и гримасничать. Мы с трудом, кое-как продвигаемся в плотном кольце шумной ватаги подростков в лохмотьях. Изредка появляющиеся тут и там на балконах взрослые не только не одергивают их, но и смотрят на нас с почти нескрываемой враждебностью. Мы привыкли к такому обращению, видели, как порушили и переворошили переселенцы армянские кладбища, хачкары, святые места. Теперь, уже убедившись, что мы не золото ищем, захороненное нашими дедами, они придумали новый повод для ненависти. Мы, дескать, приезжаем в страну, чтобы прогнать их с этих земель, превратить в кочевников, вновь завладеть своими домами. И где же эти дома?.. Все армянские жилища, даже двухэтажные особняки, превращены в развалины, очевидно с целью, чтоб угасла в нас, умерла последняя надежда на возвращение. Мама, знаю, тебе не терпится хотя бы моими глазами увидеть Нарекаванк. И мне не терпелось, и мне хотелось, но на месте пирамидального купола с восьмигранным барабаном церкви Сурб Сандухт и трехъярусной колокольни церкви Сурб Аствацацин властвует (до чего же хочется приписать “бесстыдно”) минарет мечети. Когда мы приблизились, стало ясно, что мусульманская молельня построена на месте христианской церкви. Они взорвали Нарекаванк и гладкотесаными каменными плитами выложили стены минарета, местами использовали также и обломки хачкаров.

Даже парни, сопровождавшие нас, почувствовали нашу горечь и прониклись сочувствием к нам. Они привели нас к дому, что находился рядом с мечетью, и указали на дверь хлева:

— Крест, крест...

Кровля хлева опиралась на колонны, что придавало постройке некую загадочность. Дверь была полуоткрыта, но войти мы не успели — какая-то молодая женщина, стремительно сбежав по ступенькам вниз, грудью загородила вход:

— Убирайтесь, не смейте даже приближаться.

— Как звать тебя, сестра?

— Гедие, но это не имеет никакого значения, дом принадлежит мне, а вас я не знаю и знать не хочу.

Гедие на турецком означает подарок.

— Гедие джан, мы к тебе в гости пришли, подарки тебе принесли.

Двумя руками она еще крепче ухватилась за дверной створ.

— Что за подарки?

Ничего, конечно, мы не принесли ей.

— Если дадим тебе денег,пустишь нас в дом?

— Сколько?

Грант достал из кармана десятидолларовую. Повертев в руке купюру, возвращает обратно.

— Не умею я с этими деньгами обращаться, хочу наши лиры.

Мы собрали все имевшиеся у нас лиры и отдали ей. Окружившие нас мужчины расхохотались:

— Глупышка, от долларов отказалась и взяла наши, ничего не стоящие.

В хлеву стоял тепловатый, тяжелый запах перестоявшейся соломы, мочи и навоза. Хорошо, что у Гранта имелся фонарик. Он дал его мне, а сам занялся установкой фотоаппаратуры. Направляясь к яслям, мы заметили на оштукатуренной стене напротив изображение крестов. Рисунок был сделан неумелой рукой. Прощапаный самими хозяевами, он, очевидно, предназначался посетителям вроде нас, с расчетом на обман. Случайно нога нашла на что-то твердое. Я быстро расчистил это место от напластования соломы вперемешку с мокрым навозом, и перед нами открылась капитальная стена усыпальницы Григора Нарекаци. Грант не переставая фотографировал, я же не мог вспомнить ни строчки из “Нарека”. Не понимаю, как только мы не сошли с ума, мама,.

*Ужели ты сам не всем даруешь бальзам,
Не все раны целишь, не всем спасенье сулишь,
Мне света не уделишь,
Когда озаришь весь мир?*

Г.Нарекаци (перевод В.Микушевича)

С треском захлопнулась дверь, и в удушливой темноте послышался сердитый голос вездесущей Гедие:

— Никто из вас не выйдет отсюда.

— Что случилось? Почему?

— Наши мужчины сказали мне, что вы обманули меня и вместо американских долларов подсунули наши негодные деньги.

— Можем обменять, если хочешь.

— Хочу.

Мы взяли лиры обратно, отдали ей доллары и вышли из хлева. Потом уже Гагик подсчитал, что турецких лир в стоимостном

выражении было в три раза больше. Откровенно говоря, никто из нас и думать не думал о деньгах. Мать и дочь Аракеяны — Анаит и Карине, войдя в автобус, начинают молиться, мы же не можем глаз оторвать от гряды холмов напротив. На одном из этих лысых холмов есть грот и в нем та самая келья, из окна которой однажды, на заре, Григор Нарекаци, глядя на воды озера Ван и безымянный остров, увидел в лучах солнца Богородицу с Сыном Божьим на руках. Монах-отшельник побежал к озеру, шагая по волнам, добрался до острова, встал на колени перед Богородицей. Богородица протянула к нему своего Единорожденного со словами: “Вот Господь твой”. Это не легенда, Нарекаци на протяжении всей своей жизни беседовал в той келье с Богом. Бывало, спорил с ним, душу изливал. Мог ли он предполагать, что когда-нибудь на этой вершине будет изображен турецкий полумесяц и под ним белыми камнями будет выложена надпись:

*Магометанство не умрет,
Флаг не покорится...*

Не печалься, не принимай близко к сердцу, мама, много подобных лозунгов я видел на улицах Шуши, на кажущихся непреступными башнях крепостных стен. Где они? Нет их, никто и не помнит, были ли они когда-нибудь? А Шуши есть и будет всегда. Шуши, наш армянский Шуши.

Битлис
31 авг., 05

В Западной Армении праздник, мама. Нам, конечно, грустно расставаться с озером Ван, но почти тут же нас встречают Немрут и Гргур*, увенчанные диадемами облаков на вершинах и с цветущими на склонах адонисами и альпийскими фиалками. Будто узнав загодя о нашем прибытии, разоделись они, разукрасились. Помимо внешней красоты горы Западной Армении полны внутреннего благородства и достоинства и словно не замечают козней и интриг, что плетутся в мире. Они были и остаются армянами. И ощущение это крепнет во мне еще больше, когда мы, одолев перевал Дзорапаак, спускаемся в долину Багеша. И сразу навстречу нам речки Амехаджур (или Ампаджур**) и Хосровад-

* Горы в Западной Армении.

** Вкусная вода, Облачная вода.

жур. Журча бегут они по обе стороны шоссе, сопровождают нас до города. Хотя мы, как и эти быстрые потоки, торопимся попасть в город, но, доехав до развалин знаменитого караван-сарая Аламенц-хан, мы, поддавшись искушению попить ключевой воды, останавливаемся и выходим из автобуса. Пригоршнями пьем мы искристую воду, спорим, какое из двух названий наиболее точное. Впечатление такое, будто река действительно низвергается с немрутовых заоблачных высот. О вкусе и не говорю. На берегу наши женщины, приметив алеющие в зарослях пырея цветы “ахбранц арун”^{*}, собирают небольшие букеты. Прикололи к нашим лацканам по цветку. Наверное, ты помнишь песню Комитаса о чудодейственном алом цветке, что растет в верховьях горных рек.

Ахбранц арун – среди камней...

По прибытии на место мы выяснили, что не по двум, а по четырем глубоким и узким теснинам, словно через чудотворные ворота, текут в Битлис четыре горных потока. Пробив себе дорогу через городской центр, они несутся к Каралеру, бьются о его скалы, но, не в силах их одолеть, обежав холм, сливаются и текут дальше, к Тигру. Есть ли в мире другой такой город, в центре которого высится каменная глыба, подобная этой? На вершине Каралера со времен Александра Великого стоит крепость, целы и башни его с зубчатыми оконечностями. Пройдя через подземные переходы, по крутым отвесным склонам и подвесным мостам, мы взбираемся на самую высокую стену. Под нами разверзается бездна. Но с головокружительной этой высоты заглянуть в пропасть мы не рискуем. Не сможем.

Во времена средневековья башня служила местом казни: персидские ханы сбрасывали отсюда в пропасть смертников, и потому башню в народе прозвали “Кровавая”. На склоне Каралера амфитеатром расположился армянский квартал города. Похожие на лестничные площадки дома ступенями спускаются один за другим, и плоская кровля одного образует двор или балкон другого. Глазами я ищу улицу – называлась она в давние времена “Белые плиты”. Ее описала мне живущая в Вашингтоне восьмидесятипятилетняя тикин Нвард Асатрян, да так подробно (на этой улице стоял дом ее отца), что я сразу узнаю ее, если она, конечно, сохранилась. Отец тикин Нвард после бегства попал в

^{*} *Братская кровь.*

сиротский дом в Александрополе. Школу он окончил в Тифлисе, женился в Константинополе. По странствовав по Персии от Решта до Тегерана, он обосновался в Соединенных Штатах, но словно продолжал жить в Битлисе. То же рассказывал о своей бабушке и другой битлисец — Уильям Сароян. Жившая во Фрезно Луснтаг Караоглян до конца своих дней изъяснялась на своем битлисском наречии, недоумеая, что соседи не понимают ее:

— До чего странный народ эти американцы! Столько лет я говорю с ними на армянском, ни одному слову не научились.

Тикин Нвард рассказывала, что у ее деда была самая богатая библиотека во всей губернии. Приезжавшие к ним американцы-миссионеры, протестантские проповедники, пожелали приобрести эту библиотеку. Однако дед не польстился даже на самые щедрые предложения, твердил постоянно:

— Мои книги принадлежат моему народу.

В черные дни 1915 года мужчины увели женщин и детей из дома, а сами, заняв позиции в разных комнатах, решили обороняться, спасти библиотеку.

— С моей только что вступившей в брак тетушкой, — вспоминала тикин Нвард, — мы прятались в глубине сада, и я видела, как аскеры тащили за собой тела восемнадцати убитых и пятерых раненых моих собратьев. Убедившись, что не смогут сломить сопротивление наших, турки решили поджечь дом. У нас на глазах горели книги деда, погибали мужчины, а я в страхе прижималась к тете, даже плакать не могла. Вдруг я посмотрела на нее и в ужасе вскрикнула. Черные локоны ее сделались совершенно белыми...

Мы спускаемся вниз по каменным извилистым ступеням крепости. В монотонный стрекот стрекоз врывается разноголосица пернатых. Известно, что тута, поклеванная ими, самая сладкая. Уступами расположены не только дома, но и сады и виноградники Битлиса. Наверное, в этих садах красуются и все еще плодоносят толстоствольные ореховые деревья и змеистые виноградные лозы, что были выращены руками дедов Уильяма Сарояна и Нвард Асатрян. Земля Битлиса — сплошные сады и виноградники. Собственно город зажат между гор. Очевидно потому и магазины здесь удивительно маленькие. Они кажутся ларьками; следуя один за другим, как бы обгоняя, они будто валяются друг на друга. Народ же, вышедший не то за покупками, не то просто погулять, толчется в тесноте узких проходов между магазинами-ларьками. И только мужчины, распивающие чай в открытых чайных, остаются непричастными к городской суете, размышляя

каждый о своем. Расположением и плодородной землей Битлис, или, как называли его армяне, Багеш, еще со времен Александра Македонского был лакомым кусочком для всякого рода грабителей, совершавших опустошительные набеги в долину. Город часто становился ареной кровопролитных столкновений между персами и арабами, турками и курдами. А армяне? Чем были заняты те, кто, по свидетельству арабского географа Якуба аль-Ямави, турецкого путешественника, автора путевых заметок Эвилья Челеби и курдского историографа Шараф-хан-Бидлиса, составляли основное население города? Где были, к примеру, Вардан, Аракел и Нерсес Багишеци, Ованес Колот, Григор Арцишеци? Далеко от города, в монастырях Сурб Ованес, Сурб Аствацацин, Татрабнак, Хндракатар, они составляли проповеди, четьи-минеи, писали евангелия. До нас дошло около двадцати рукописей. Но до этого ли было тогда? Почему они не взялись за оружие? Мы с тобой, мама, много рассуждали, говорили об этом, даже спорили. Ты считала, что у наших предков не хватало сил, чтобы защитить свою землю, что враги были один другого свирепее и подлее. Своими трудами ученые-вардапеты* стремились спасти и сохранить силу духа своего народа. А дух — что это такое? Хлеб не хлеб, вода не вода, может, земля или небо? Он превыше всего, конечно... Дух — это не умевший писать на армянском Уильям Сароян, который не уставал повторять во всеулышание, что он армянский писатель. Приехав в тяжелый 1935 год в Советскую Армению на деньги, полученные за издание первой своей книги, Сароян обнаружил, открыл в себе не просто армянина, а армянина битлисского. Знают ли теперешние битлисцы, шумно торгующиеся вокруг меня ради двух-трех лир, что их город дал миру великого писателя, который всю жизнь мечтал побывать на своей исторической родине, в столице этого горного края? Приплыв в мае 1964 года на пароходе “Адана” в Стамбул и сойдя на берег Галатии, он сильно удивился. На берегу толпились в ожидании газетчики, фоторепортеры, просто поклонники его литературы. Сароян подошел к ним, поговорил и узнал, что многие из его книг переведены на турецкий и здесь он известный и читаемый автор. С истинно восточным радушием они обратились к нему:

— Что вы хотели бы посмотреть прежде всего?

— Битлис, — ответил Сароян, — я жил этой мечтой пятьдесят шесть лет.

* *Вардапет* — архимандрит.

Почувствовав их растерянность, он прижал руку к груди и сказал:

— Я армянин, битлисец.

Встречавшие Сарояна были в шоке. И это понятно, ведь они не могли не знать, что армянские церкви города превращены в мечети, а кладбища — в пастбища. И беспокойному, нетерпеливому по натуре Сарояну пришлось проявить долготерпение, ждать целую неделю, пока министерство иностранных дел Турции после настойчивых запросов американского посольства и информационного центра дало разрешение писателю на посещение родины предков.

В Битлисе уже знали о предстоящем визите писателя, и по его прибытии туда ему первым делом подарили путеводитель турецкого историка Суби Ментеши. Из книжки можно было узнать, что “Битлис основали турки. Это турецкий город, население — турки, и язык турецкий, чистый, без наслоений”.

С тоской в глазах, влажных от волнения, бродил он по городу. На рынке к нему подошел некий Джемал Бапир, продавец фруктов:

— Я знаю, где ваш дом и помню твоего отца.

Сарояна это привело в сильное волнение:

— Кто был мой отец?

— Твой отец, Арменак Сароян, был учителем в протестантской школе.

— Правильно, — обрадовался Сароян, — давай пойдем, покажешь наш дом.

Карабкаясь по крутому склону, они дошли до квартала Цапркор. Сверху открывался прекрасный вид на крепость, город и окружающие горы. Таким был Битлис по описанию бабушки Луснтаг, его матери Тагуи и дяди Арама. “Я переживаю самые счастливые минуты моей жизни”, — признался Сароян, расчувствовавшись. И тут же решил написать книгу о Битлисе.

— Добрались, — запыхавшись, остановился Джемал и указал на особняк Караоглянов. На каменной арке ворот сохранилась дата строительства — 1888. Сароян наклонился попить воды из родника Джурик. Долго-долго пил он, напившись, вытер усы. Пожалел, что приехал без дяди Арама и племянников.

— А где наш дом? Он должен быть где-то здесь, недалеко от родника.

Они с Джемалом двинулись по дороге дальше, Сароян проявлял все большее нетерпение, волновался. Остановившись, Джемал указал на груды камней.

— В нашей газете “Айат” писалось, — стал он оправдываться, — что в первую мировую войну, когда русские заняли, а потом оставили город, армянские разбойничьи банды в последнюю минуту разгромили Битлис. — Сказал и убежал...

Дом был разрушен, но тонир — удивительно — еще хранил тепло. Выяснилось, что молодым снохам курдов, переселившихся из окрестных деревень в Битлис, полюбился уцелевший очаг, и они приходили сюда каждый день печь хлеб. Наклонившись, он коснулся пальцами теплых стен. Задыхался под наплывом чувств. Попросил у прохожего сигарету, а ведь более десяти лет уже не курил, но теперь с жадностью выкурил до конца. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким. Пошел и лег под единственным деревом, оставшимся от исчезнувшего их сада. Лег и закрыл глаза. Очнулся от того, что кто-то тряс его за плечи:

— Не горюй, приятель, я портной Салахеддин, в Битлисе меня уважают, да и связи имеются. Если тебе известно, где зарыты богатства вашей семьи, могу быть тебе полезен. Вместе будем искать, поделимся...

Сколько времени оставался в саду Сароян, о чем он размышлял, разговаривал с самим собой? Неизвестно. Он, который имел обыкновение делать заметки, заносил на бумагу чуть ли не каждый час и день своей жизни, не оставил ни строчки о пережитом в Битлисе. Не сумел об этом написать даже такой большой писатель, как Сароян.

Так, хорошо... Сароян, значит, наша духовность. А реальность? Может, этот с черными глазками молодой человек, что стоит у дверей собственного ресторана и, подобострастно улыбаясь, смотрит на меня? Убедившись, что не обращаю на него внимания, бежит ко мне, лавируя в потоке машин с угрозой для жизни.

— Братец, ты из Армении? — обращается он ко мне на ереванском разговорном. — Полдень уже, небось проголодались. Поговори с группой, вы можете отобедать у меня. Обойдется недорого. — Подумав, что я колеблюсь, продолжает наседавать: — С тебя ничего не возьму.

— Извини, но кто ты по национальности?

Молчит. Его армянский ограничивается только этими несколькими словами, чтобы торговать, ну и, если удастся, обманывать.

Этот молодой человек наверняка ни разу и не взглянул на ворота Каралера, которым 2500 лет, он не знает ни Уильяма Сарояна, ни одного имени писателя вообще. С раннего утра до позднего вечера занят он торговлей, чтобы ночью в каком-нибудь увеселительном заведении, уже под кайфом, забыться в

объятиях толстозадой проститутки. И чувствовать себя счастливым. Где же правда, мама? В его счастье или в наших муках? А я? Как я должен воспитывать своих детей и должен ли я продолжать разговаривать с ними на западноармянском? А с внуками?

Мы нигде не делали так много покупок: битлисский хлеб, битлисский мацун, битлисский сыр, о фруктах и не говорю. Набитые до краев корзины мы поместили в автобус и отправились в путь. Хотелось пообедать в спокойном месте, далеко от сутолоки.

Во время своего второго визита в Армению вот какую историю рассказал Сароян на встрече с молодыми писателями. После резни много армянских детей оказалось в сиротских приютах. Ежегодно к его дяде, адвокату Араму Сарояну, обращались дамы из различных благотворительных организаций, из общества призрения бедных с просьбой оказать денежную помощь. И так не один и не два года, а много лет подряд.

— Э-э, сироты эти не повзрослели? — спрашивает Арам Сароян.

— Повзрослели, — отвечают ему, — и заимели новых сирот.

Взгляд писателя, как всегда, ясен и мудр: армяне, живя далеко от родины, как бы ни процветали, остаются изгнанниками-сиротами. Поэтому и захотел он, чтобы после смерти хотя бы частицу его тела похоронили в Армении. Всю жизнь был изгнанником-сиротой и не хотел оставаться таковым и после смерти...

Как только мы выехали из города, река Битлис и на этот раз вышла навстречу, теперь уже провожать нас. Ведите нас, реки, ведите куда хотите — в какую сторону ни повернем мы, все равно придем в нашу страну.

(Окончание следует)



Ещё не вкусил до конца
 Ни один сказитель.
 Гораздо позже, когда ребёнок
 Положит руку
 На рояль Араратской долины
 И на хмурый утёс виолончели,
 Ему покажется вдруг,
 Что он слышит
 Торжественный хорал истории.
 В самом деле, брат,
 Как ни велико прошлое,
 Оно мертво,
 И как ни убого настоящее,
 Оно живо.
 Ударь же по клавишам
 Пальцами-лучиками человека,
 Дегустирующего жизнь!
 Коснись смычком виолончели,
 А другой рукой ущипни её струны,
 Играющей со смертью рукой.
 Здесь, перед этой горой,
 Жизнь и смерть — это праздничный
 виноград,
 Чёрный и белый,
 Из которого выжимают
 Одно и то же вино
 Вечности.
 Пей — и откликнется звуком
 Вибрирующий горизонт.

РЕ

Лучше быть чуточку армянским
 Композитором,
 Чем византийским императором,
 Армянином наполовину.
 Он во имя империи
 Подавлял бунтовавших соплеменников.
 Композитор не подавит,
 не взбунтуется,
 Он улыбнётся, как глина
 в руках Бога.

Свирель подтвердила
простую истину:
Земля вращается в лад нашей крови,
Душа, что пориста, как и тело,
Вдыхает и выдыхает
Любовь, любовь.

СОЛЬ

Я так хочу,
Чтобы твоя борода
Удлинялась
И укорачивалась,
Точно снега Арарата.
Стряхни с бороды
Капли воды,
Оставшейся
От Ноева
Потопа.

ЛЯ

Оркестр готов принять
Дирижёра.
Сегодня прозвучит
Многоголосие земной коры,
Атмосферного слоя
И комет.
Красная роза
Вонзила свой шип
В контрабас.
Горький полынный одеколон музыки
Моросит над сырыми долинами.
Над пограничной чертой
Трепещут крылья серафима:
Одно — в мире смерти,
Другое — в этом.
В конце музыкант,
Он же дирижёр,
Он же слушатель,
Он же всё на свете,
Впервые вместе, в один голос

сыграют:

Было изначально, есть
И пребудет вовеки веков
Дело.

СИ

После гибели тысячезвонного
(Подсчитано ящерицами)
Города Ани
(Землетрясение об этом умалчивает)
Тысячи армян достигли Польши.
Спустя какое-то время
Они ушли от апостольской церкви
К католической.
А теперь спросите у перелётных птиц:
Какие у них корни —
У Ежи Кавалеровича, у Цыбульского?
Бабушка кличет по-армянски:
— Кшиштоф,
Христос воскрес!
Кшиштоф кричит,
Не прерывая мальчишеских игр:
— Воистину воскрес!
Приятели смеются:
Кшиштоф — Христос, Кшиштоф — Христос,
Аминь.

ДОРЕМИФАСОЛЬЯСИ

Когда ты явился, двух апостолов
Уже побили камнями.
С нашей землёй смешалась
Трёх девственниц кровь.
Бухгалтеры смерти
в чёрных нарукавниках
Подсчитывают останки жертв.
У нас есть имя Авель,
А Каина не было никогда,
Но спасёт ли это от заучивания
Таблицы умножения убийств?

Когда ты явился, ты уже был
 В одеянии пророка,
 И твоё белое лицо отделяло
 Обычное бытие

от обычного бессмертия,

И в остатке была
 многоцветная совесть,

Трепещущая крылом птицы, —

Звук, сорвавшийся с клюва.

Песня, ты прячешься в ушной раковине,

А на губах становишься молитвой.

Да будет воля Твоя,

Да будет всё сущее, ибо оно Твоё...

Пальцами-лучиками

с клавиш сорви шипы.

Их кровь разливает алую литургию

На утренние и закатные горы,

А в полдень — спокойный хорал.

Ты умеешь играть

на голосовых связках волка,

Твой орга́н — это бока

наполненной молоком коровы,

Чьими рогами вспаханы

солончаки неба.

Дирижируй, дирижируй

Раскатами многоголосого хора,

Тающими полюсами,

Грядущими потопами.

На медных оркестровых тарелках

К столам поднеси пищу

Для тайного завтрака,

обеда или вечера.

И подари нам отдых после трапезы

С десертом сна

И с разминающей нашу сырую глину

Музыкой завораживающего дождя.



Нелли Шахназарян

РАССКАЗЫ

Перевод С.Авакян

МЕСТЬ СТАРОГО ТАРАКАНА

Расскажу странную и таинственную историю об огромном таракане с темно-рыжими усами, отдающими черным, который однажды отомстил мне. И не только мне: дочку довел почти до сумасшествия. А ведь все должно было случиться совсем наоборот. Но почему? Да потому, что дочка запретила мне купить у мелкого торговца-старика средство от тараканов!

Мы с ней довольно долго бродили по ярмарке, искали дешевое, но качественное вечернее платье для предстоящего мероприятия. Да только разве купишь по дешевке что-то качественное! Мы это, конечно, знали, но продолжали искать: кто знает, думали мы, может, кому-то позарез нужны деньги... Дочка умела быстро ориентироваться и потому ушла от меня далеко вперед. А я, наверное по привычке, присущей пожилым, медленно ходила по рядам, присматривалась, трогала понравившееся платье, долго разглядывала его, спрашивала цену и сердито шла дальше: мой вкус и содержимое кошелька никак не совпадали. А на уступку, конечно, никто не шел, словно все сговорились и все торговцы были моими врагами. Дочка все понимала с первого взгляда и даже не спрашивала цену, чтобы не терять лишнего времени, и все время отходила от меня шагов на десять-двадцать.

“Средство от тараканов, средство от та-ра-ка-нов!” — неожиданно услышала я и обернулась. Купить или нет? Дома у нас давно нет этих самых тараканов. Но может и пригодится, в нашем городе никто не застрахован от них, и лучше запастись на всякий случай.

Мы с дочкой ужасно боялись тараканов. К страху примешивалось отвращение. Даже при мысли о них кожа покрывалась му-

рашками. Не пойму даже почему, в голове засело: а если они, то бишь тараканы, залезут нам в уши?! От одной этой мысли хотелось плакать. Может, купить для страховки один флакончик? Правда, я не знала, в чем это самое средство — во флакончиках, порошке или в виде дезодоранта? И пока я решала, как быть, торговец быстро прошел мимо, продолжая выкрикивать: “Средство от тараканов! Средство от та-ра-ка-нов!” Слово “таракан” он делил на слоги, и звучало оно как-то напевно. Старик был, как говорится, в теле, довольно бодрый. На шее у него висело что-то наподобие лотка из куска фанеры, на котором были выставлены флакончики, дезодоранты и еще всякая мелочь — иголки и прочее. Он был в черных шлепанцах и темно-рыжих брюках. Неслышно и быстро перебирал ногами, казалось, скользил по земле.

— Остановитесь на минутку, папаша! — окликнула я его, подойдя ближе.

— Всего пятьсот драмов, — ответил старик, — очень крепкий состав... Распылишь, и в доме не будет отбоя от красивых бурых, блестящих, рыжих тараканов...

— Что? — удивленно уставилась я на старика.

Он замешкался, потом засмеялся и стал меня успокаивать:

— Успокойтесь, тикин, достаточно только один раз распылить это средство, и вы навсегда забудете о... как бы это сказать, об этих ... блестящих...

— Какой вы странный, — сказала я старику, — вы словно издеваетесь надо мной!

Старик сразу как-то собрался, opravил воротник френча и заметил, мол, средство это очень сильное и его нельзя распылять голыми руками, оно весьма... нет, нет, извините, весьма опасное: достаточно попасть одной капле на руку, и в ладони немедленно появится маленький незаметный таракашка...

— Вы просто сумасшедший! — сказала я старику. — Нельзя же так, ведь мы должны уважать ваш возраст!

Я собралась было уйти, но подошла моя дочка и стала выговаривать мне за то, что я отстаю.

— Тебя нельзя оставлять одну, иди за мной! — строго сказала она и потянула меня за руку.

— погоди, доченька, мама решила купить средство от тараканов, — озабоченно сказал старик.

— Не нужны нам никакие средства от тараканов, у нас дома давно нет этих мерзких тварей. — И она снова потянула меня за руку. — Зачем тратить деньги на всякую ерунду!

На слово “мерзкие” усы у старика нервно дрогнули и зашевелились. Не знаю почему, но мне показалось, что они у него похожи на тараканьи лапки. Было ясно, что мои слова не понравились ему.

— Живые существа, и все тут, — сказал он упавшим голосом. — Божьи твари. Да и цвет у них очень модный! Сначала вам кажется, что они черные, но при внимательном рассмотрении... Конечно, если вам это удастся... — с каким-то горделивым бахвальством продолжал старик, — потому что, как вы сказали, эти мерзкие твари (последние слова он произнес с оскорбленным видом, злобно рассматривая мою дочку своими маленькими, черными, очень подвижными глазками) фантастически быстроногие, и чтобы поймать даже самого крошечного таракашку, можно перевернуть в доме все вверх дном и остаться ни с чем... А опытные старые тараканы... — Старик снова зашевелил усами, так походившими на тараканьи лапки, и на этот раз продолжил с нескрываемым воодушевлением: — Сначала кажется, будто они даже не умеют двигаться, но вот появляется один из них (старик хитро улыбнулся), самый опытный и самый мудрый, скажем, в самом темном углу на потолке, и пока вы бросаетесь за веником или шваброй, он молниеносно исчезает, так, словно и не было его. — Старик от удовольствия хрипло засмеялся.

Мы удивленно переглянулись, но старик был так воодушевлен, что даже не заметил наших взглядов и увлеченно продолжал: — И если вам все же удастся поймать слабого и хромого таракана и рассмотреть его, вы увидите, какой он блестящий и какого он чудесного цвета — не черный и не рыжий... Вернее, нечто среднее между темно-рыжим или рыже-темным, я не могу описать его цвета, но это что-то очаровательное, обольстительное, напоминающее... — он пожал плечами, — одним словом, медного цвета. Знаете, я заметил, что женщины с тонким вкусом тратят уйму сил, чтобы добиться такого цвета для своих волос! А эти самые, как вы говорите, мерзкие твари... — Колючие глаза старика с упреком смотрели на мою дочку. — У них, знаете ли, такой цвет от рождения, может, чуть темнее или светлее... Покупайте средство от тараканов! Темных, светлых, рыжих... Распыляйте его, и ваш дом в одно мгновение заполнится этими прекрасными, блестящими и очень проворными существами... Средство от тараканов, от та-ра-ка-нов! — снова затянул старик точно любимую песню.

— Он сумасшедший! — сказала дочка. — Он же занимается рекламой тараканов, а ты хочешь купить у него это средство!

— Ну нет, — вмешался старик, — они не так уж противны, как вам кажется.

Мне даже показалось, что он сказал “глупая девчонка”.

— Что? — скорее удивленно, чем рассерженно спросила я.

— Ничего, — ответил старик. — Я говорю, разве это деньги, всего какие-то пятьсот драмов, гроши! Берите вот этот, самый яркий цвет...

— Давай купим, — попыталась я уговорить дочку. — Вдруг и у нас появятся эти омерзительные...

— Ну хватит! Идем отсюда! — сказала дочка. — У нас дома нет и не будет этих рыжих блестящих и проворных существ... — с нескрываемой насмешкой сказала она. — Оставь этого полоумного старика, — добавила дочь и снова потянула меня за руку.

— Они у вас есть! — прищурился хитрые глазки, сказал старик. — И сколько! — Усы у него быстро задвигались вверх-вниз. — Берите, пригодится, я вам точно говорю, — сказал он с издевкой и пошел дальше, продолжая свое напевное “средство от тараканов!”

Он уже исчез из поля нашего зрения, когда дочка неожиданно пожалела его.

— И все-таки очень забавный старикан, — сказала она, — с юмором!

— А твоя грубость, как всегда, оказалась не к месту! Ты у меня порой бываешь неоправданно грубой!

— Ладно, не сердись, — ответила она. — Мы его сейчас догоним. Жалко старика, он, наверное, так зарабатывает себе на хлеб... Но он наговорил столько глупостей. — И она побежала за стариком.

Издали послышалось его напевное: “Средство от тараканов!” Потом дочка вернулась расстроенная и нервная.

— Его нигде нет! Я везде искала, словно сквозь землю провалился! Ну почему мы его обидели?.. Куда же он подевался? Так и слышу его голос. Давай попытаемся его найти, объявим по внутреннему радио.

— Теперь ты бросаешься в другую крайность. Идем, — сказала я и прошла вперед. Дочка исчезла, и вскоре по ярморочному радио раздался ее взволнованный голос: “Дедушка, продающий средство от рыжих, темно-рыжих, блестящих, проворных, прекрасных, чудесных существ, подойдите к выходу третьей секции, подойдите, прошу вас, я куплю всю партию вашего средства от тараканов: порошки, дезодорант — все куплю! Все средства от тараканов! — Она произнесла это напевно, точно так, как кричал старик. — Подойдите к третьей секции...”

Я направилась в нужном направлении и у входа увидела дочку. Но старика не было нигде... Может, он просто испугался...

Мы вернулись домой грустные и подавленные, в каком-то странном напряжении. Время от времени ловили себя на том, что с опаской и беспокойством оглядываем углы в комнатах. Наконец я не выдержала:

— Надо было купить у него хотя бы немного, хоть один флакончик. Ты порою делаешься странной в своей необъяснимой скупости. Мы что, разбогатели на этих пятисот драмах. И куда девалось твое чувство юмора!

— Знаешь, я места себе не нахожу, все время слышу голос старика. Но он наговорил столько глупостей. И все-таки интересно, куда он исчез? Помнишь, с каким удовольствием он описывал этих отвратительных тварей, словно, словно...

— Послушай, дочка, а ты заметила его усы, тонкие и длинные, точь-в-точь как тараканьи лапки. А френч темно-рыжий... Кто видел, чтобы средство от тараканов продавали, облачившись во френч?! Все это не показалось тебе странным?

— Оставь свет во всех комнатах, ма. Он так уверенно говорил, что и у нас дома есть эти... брр... Я и сейчас боюсь произнести это слово... отвратительные... А его глаза, они так и сверлили нас...

— Что это мы весь вечер говорим только о нем, скоро полночь.

— Ну хватит, больше ни слова об этом... Подумаешь, средство от та-ра-ка-нов...

— Вот ты говоришь, не будем вспоминать, а сама первая поминаешь его... "Слышите, модный цвет"! А его смех, такой необычный, похожий на свист или хрип...

— Старый человек, мама, а ты во всем хочешь что-то отыскать. Давай не будем больше говорить об этом... Пора спать, а утром проснемся, и все останется в прошлом.

— Хочешь, сегодня ляжем вместе?

— Ты что, боишься, ма?

— Да ты что! Чего мне бояться?

— Не знаю, спать отдельно спокойнее, а то все время перетягиваем одеяло...

— Ну хорошо, ложись и спи. Вот я уже легла и навсегда забыла о глупом старике.

— Но я знаю, что этот странный старик-коробейник не идет у тебя из головы!

Мы долго молчали. Не спали — нам обоим мешало какое-то глупое предчувствие опасности и беспокойство. Не знаю даже,

сколько времени прошло, когда дочка вскочила с кровати и быстро зажгла свет.

— Ничего нет. Теперь мы можем спать спокойно...

Она говорила это мне, но, наверное, больше себе самой для успокоения. Потом придвинула свою кровать к моей, выключила свет и легла, укрывшись одеялом с головой. Она еще долго ворочалась, и я чувствовала, что она продолжает держать голову под одеялом. Потом по ее ровному дыханию я поняла, что она заснула. Я протянула руку и обняла ее теплое тело... Так я чувствовала себя надежнее. Не помню, сколько времени я не то спала, не то бодрствовала, когда неожиданно перед моими глазами отчетливо появились усы старика, так похожие на тараканы лапки, потом его тело — оно начало сжиматься, уменьшаться и стало вровень с полом, лицо его заострилось, и от старика осталось только тонкое, длинное подвижное тельце и маленькие глазки. Темно-рыжий френч превратился в длинную тараканью спинку, и толстый, блестящий даже в темноте таракан направился прямо к подушке моей дочери... Я хотела протянуть руку, прихлопнуть его, закричать, но не смогла... Голос, руки, тело не повиновались мне... В следующее мгновение тишину разорвал истошный, душераздирающий крик моей дочери. Я вскочила с постели как на пружинах, быстро зажгла свет... и окаменела от ужаса... Дочка стояла на кровати, завернутая в одеяло, и продолжала истошно кричать. В ужасе она не отводила испуганных глаз от подушки, на которой сидел увиденный мною таракан. Тот даже не пытался бежать, хрипло смеялся, и я вдруг явственно услышала: "Я же говорил, они у вас есть!" Он произнес это довольный и повел своими лапками вверх и вниз. А потом в одно мгновение оказался на полу и спрятался под креслом. Я вынуждена была притвориться храброй, хотя от отвращения и ужаса вся покрылась мурашками, быстро соскочила с кровати, вооружилась веником и отодвинула кресло: большие и маленькие, черные, рыжие, блестящие тараканы прыснули в стороны с фантастической быстротой. Я в бешенстве отодвинула диван — там тоже расположились тараканы, крупные и не очень... Я передвинула кровать, шкаф — весь дом был полон ими... Растрепанная, с веником в руке, я бегала по дому, била их, а дочка, с головой укутавшись в одеяло, продолжала в страхе кричать и указывать то на одного, то на другого таракана... А их становилось все больше и больше, и они разбегались по комнатам с невообразимой скоростью, появлялись в самых разных местах, превращались, наподобие наступающего войска, в движущиеся

ряды. Я сломя голову бросилась в ванную и, схватив ведро с водой, стала плескать на них направо и налево, вверх и вниз... Всюду перед глазами были полчища тараканов, а я жестоко боролась с ними, поливала и поливала водой... Пол напоминал поле боя с убитыми в неравной схватке воинами... Усталая и измученная, я отбросила ведро, звон которого как бы провозгласил конец войне, и тут я увидела, что по стене быстро бежит старый таракан. Ему удалось обойти лужу на полу и невообразимыми окольными путями добраться до стены. Спустя немного времени он прекрасно устроился в самом темном углу потолка, и я услышала голос старика-коробейника: "Один из самых опытных и мудрых тараканов, самый-самый мудрый, в одно мгновение может появиться в самом темном и удобном углу, и пока вы побежите за веником или шваброй, он исчезнет так, словно и не было его..."

Я бросилась за шваброй, а когда вернулась, старый таракан исчез... Я отбросила швабру... Все вокруг было в воде, и только один угол в комнате, где стояло кресло, оставался сухим. Мы с дочкой устроились в нем, крепко обнялись и уставились в окно, с нетерпением ожидая рассвета...

ПРИЗРАК

Я стояла на остановке. Долго не было моего автобуса. Потом проехали несколько маршрутных такси, но я не села ни в одно из них, хотя понимала, что опаздываю. На самом деле я просто не имела представления, который час. У меня нет привычки носить на руке часы. Нет, если честно, ни одни часы не работают на моей руке, не знаю почему. Сначала меня это беспокоило, потом я привыкла, знала утренний час, когда надо идти на работу, и вечерний, по возвращении домой. Этого было достаточно. Я часто опаздываю на деловые свидания, но и это давно вошло в привычку. Сейчас же, без часов, чувствуя, что опаздываю, не могла долго стою на остановке, я, не знаю даже почему, не могла заставить себя уехать. Нет, я чего-то ждала, а если точнее — кого-то. Кого, я и сама не знала. Не знала и... ждала, да, независимо от себя самой, ведь я и вправду *никого не ждала!* Во мне жило какое-то ожидание, такое определенное, что я поворачивалась, оглядывалась по сторонам и продолжала стоять... Вот тебе на! Почему я словно пригвоздилась к этому месту? Кто должен

прийти и все не приходит? И кого я так подсознательно жду? Странное дело, со мной впервые такое! Может, я просто обманываюсь, думая, что жду кого-то? Ведь я уже давно никого не жду... Но я продолжаю стоять на остановке, продолжаю опаздывать... Достаточно было появиться моему автобусу, как в голове пронеслось: “Поеду на следующем...” “Садись же!” — говорю я себе. А ноги не подчиняются, и все тут! И я остаюсь стоять... Я уже чувствую, что привлекаю к себе внимание; уже несколько раз проехали все проходящие здесь маршрутные такси, а я продолжаю стоять. Мне очень хочется спросить кого-нибудь, который час, но тайный голос подсказывает мне, что еще немного и... он придет... И в это мгновение я чувствую на себе обжигающий взгляд, а в следующую секунду горячее дыхание на затылке, теплое, родное дыхание... На одно мгновение всю меня охватывает счастье, и я цепенею. “Не может быть, — думаю я, но страшусь обернуться, — такое невозможно, это нечто неслыханное и невиданное...” Совсем недавно я боялась признаться себе, что жду отца, которого нет на земле уже шесть лет... Но как можно ждать того, кто не существует? А я уверена, я знаю, что жду именно его! Затылок жжет сильнее. Чей-то голос спрашивает: “Почему ты не оборачиваешься?” Потом слышу настоятельное: “Обернись же!” И я резко оборачиваюсь. “Не может быть!” — кричу я, но никто не оборачивается, а я, словно загнипнотизированная, иду к...

Ко мне подходит стоящий поодаль пожилой мужчина, надвинув на глаза шапку. На руке у него часы, и он постукивает указательным пальцем по циферблату, словно хочет сказать, что пришел вовремя... Я показываю ему свою руку, мол, ты же знаешь, я никогда не ношу часов...

Он подходит ко мне, его голубые с прозеленью глаза смотрят на меня с укором. Я оправдываюсь, словно отвечая на его упрек, звучащий в моей душе. “А говоришь, помнишь...” “Помню, помню, помню!” — слышу я свой голос. Несколько человек на остановке удивленно оборачиваются, смотрят в мою сторону... Я задыхаюсь от волнения: те же глаза, те же брови, тот же подбородок, те же аккуратно подстриженные жесткие усы и то же самое выражение лица... Он, Господи, он, такой, как был, только шапка чужая...

“Я очень по тебе тоскую”, — не знаю вслух или в душе говорю я. Отец недоверчиво машет рукой, и я слышу: “Поэтому никогда не приходишь на могилу...”

Я в замешательстве. “Это не имеет значения, — говорю. — Живу далеко, не получается, но мысленно я всегда с тобой, а в

трудные минуты чувствую твое присутствие, оно дает мне силу и уверенность, и мне кажется, ты рядом... Я знаю, твоя душа чувствует это, ведь ты всегда четко отвечаешь на мои вопросы, даешь мне советы...”

Стареющий мужчина странно улыбается: “Ты сняла мою фотографию со стены, повернула вниз лицом...”. “Подожди, подожди, не думаешь ли ты, что я не хочу видеть твое лицо?! Такое родное и дорогое... Как ты мог даже подумать такое? Господь с тобой! Просто в народе говорят, что портреты умерших должны висеть на стене не дольше сорока дней, иначе они приносят несчастье... Господи, я не могу примириться с твоей смертью! Откуда ты появился?! Смотри, я задыхаюсь от волнения! Столько лет я ни разу не видела тебя даже во сне. Нет, один только раз: ты был весь в поту, взмыленный, словно Сизиф, поднимающий раскаленный камень, непосильную ношу... Проснулась расстроенная и разочарованная, подумала: “Мой бедный отец продолжает мучаться...” Я сразу разгадала сон: ты хотел облегчить нам, твоим детям, наши заботы...”

Я радостно подошла к нему, положила ему голову на грудь, нежно прижалась: “Скажи хотя бы одно слово, отец... — Я явственно слышала свой голос. — Который час, ответь мне, прошу тебя!” Он что-то произнес, но его слова не дошли до меня, он уже уходил... “Не уходи, прошу тебя!” — взмолилась я. “Я опаздываю, — сказал он, — не успею...” — “Я сойду с ума, — отвечала я, — куда ты идешь?” — “А вот и мой автобус, — ответил отец и поднялся в автобус, опираясь на трость. — Держись!” — добавил он и отвернулся.

Никто больше не подошел к этому автобусу.

Как странно: я не разглядела лиц пассажиров — казалось, в нем находились человеческие тени.

“Куда идет этот автобус?” — спросила я. “Туда”, — услышала я в ответ голос отца. “Я тоже с вами!” — закричала я, бросаясь к автобусу. Отец с укором погрозил мне пальцем и строго произнес: “Говорю тебе, держись!”

Автобус тронулся бесшумно, как-то скользя, и очень скоро исчез.

— Какой номер был у этого автобуса? — крикнула я взволнованно.

— Что? — спросили меня люди, стоящие на остановке.

— Автобус, автобус, который только что ушел, — ответила я, задыхаясь от слез.

— Никакого автобуса не было, — сухо ответила мне высокая женщина.

— Как же так?! — сказала я в смятении. — Тот автобус, на котором уехал стоявший со мной пожилой мужчина.

— Никакого пожилого мужчины здесь не было, — снова сухо заметила женщина. — Что с вами, вам плохо? Обратитесь лучше к врачу, — добавила она холодно.

Я потрогала себя за руку, ущипнула, почувствовала боль. Вдалеке я последний раз увидела ускользающий автобус и руку отца — он махал мне. В окне автобуса на мгновение, как далекий отблеск, блеснули его глаза, голубые с прозеленью, и этот свет заставил меня закрыть глаза... А когда я их открыла, на остановке не было *никого*... Я стояла одна...



Татул Болорчян

ОБРАЗ ГРЯДУЩЕЙ ВЕСНЫ

Перевод Г.Баренца

Ангелы слезы роняют в воду, —
Золотая рыбка,
Отвори-ка дверь...
В наши глаза засмотрелись звезды, —
Золотая рыбка,
Отвори-ка дверь...
Шелестят пески, говорят со мной,
Волны пенятся, говорят с тобой,
Ты опять шумишь,
Я опять молчу, —
Золотая рыбка,
Отвори-ка дверь...

Пусть ветер вновь свою прозу читает,
Я декламирую свои камни.
Не бывает ни новых, ни старых гор,
Я декламирую свои горы.
Я — толкование снов моих,
Я — источник всего, что я видел.
Не бывает ни новых, ни старых снов,
Я декламирую свои сны.

Небо, похоже, уже созрело,
Из звезд сочится
И плачет свет,
И муравью говорить захотелось,
И горлица в голос
Встречает рассвет...
А умный не спорит,
И глупому вторит...
Пожалейте Творца!
Пожалейте Творца!
Похоже, что пропасть
Заполнится скоро,
И день неумытый
Умоется споро,
Верблюд отдохнет
И напьется воды
И в пустыне песчаной
Оставит следы...
А умный не спорит,
И глупому вторит...
Пожалейте Творца!
Пожалейте Творца!

Рисуйте солнце на камнях!
Пусть слепят каменные диски.
Смотрите, воды обнажились,
Их мучит жажда, кто даст им пить?
Вы воду рисуйте на глади воды...
И дождь нарисуйте, воскресный закат,
И свечи зажгите в вечернюю пору,
И море рисуйте, и память морскую,
Пусть дно наконец обретет свой покой...

Все удлиняясь,
Удлиняясь,
Тень не становится умнее,
Не разбирается

Ни в тучах,
 Ни в летнем ливне,
 Ни в смехе поля.
 Не разбирается в вечерней
 Высокой радуге-дуге,
 Ни в вечном торге света с мраком...
 Ни в бриллиантах, ни в слезах,
 Ни в раскорчеванных
 Лесах,
 Ни в боли молодых деревьев...
 Все удлиняясь,
 Удлиняясь,
 Тень не становится умнее.

Небо — ваза со звездами,
 Дайте закрыть глаза;
 Жить с усталой душою
 Непросто мне,
 Дайте закрыть глаза...
 Звезда упала,
 Звезда пропала,
 Звезда легендою стала,
 Там, где была звезда,
 Теперь пустота,
 Дайте закрыть глаза...

На пожелтевшем листе рисую
 Образ грядущей весны,
 И верю, что мы
 Друг на друга похожи...
 Стоило тучам сгрудиться,
 Я устремлялся к могучему дубу,
 Чтоб не промокнуть:
 С дубом также мы в чем-то похожи...
 Я по лужицам грязным
 Бегать любил босиком:
 Мы и с мутной водою похожи...
 Я шиповнику дал

Капельку крови своей, —
Я на слезы немного похож...
А когда закрываю глаза,
И ущелье журчит и рокочет,
Как приставленный к уху стакан,
Я немного похож на орга́н...
На пожелтевшем листе рисую
Образ грядущей весны,
И верю, что мы
Друг на друга похожи...

Камни — добрые отшельники,
Поджидаю их.
Струйки со скалы стекают,
Вверх смотрю на них.
Реки по морям тоскуют,
И предела нет,
И становится все чище
Под водою свет.
И шумят, шумят легенды,
И проснулся я.
Кто-то слушает глазами.
Кто? Конечно, я.



Эдуард Хачикян

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

ВОПРОКИ СМЕРТИ

Рассказы

Перевод Л. Захарян

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Не вылети перепуганный до смерти глухарь из прикрытой листьями воронки и не взмахни широко крыльями, не отпрыгнул бы от неожиданности и солдат, не споткнулся бы, не взвыл от боли в колене и не растеклась бы пронзительная боль от вспухшей ноги по расширившимся зрачкам. А потом, потеряв чувство времени, не заметался бы, подобно загнанному зверю, по истерзанному снарядами и окутанному туманом лесу, где в унисон убаюкивающим завываниям ветра шелестели палые листья и хрустели сухие сучья под тяжелыми армейскими ботинками.

Он шел опираясь на винтовку, как на костыль. До сегодняшнего дня, а вернее, до полудня — до той самой минуты, когда, увлекшись спелой ежевикой, он не обнаружил вдруг, что заблудился, солдат не мог бы пожаловаться на судьбу. Сейчас же только стон, слышный ему одному, вырывался сквозь плотно сжатые губы. Вконец обессилев от бессмысленного блуждания по лесу, он остановился, чтобы хоть на миг дать отдохнуть отяжелевшей ноге, потом, все так же волоча ногу, продолжил путь. Он старался идти, насколько было в его силах, быстро, однако дышащий холодом вечер незаметно опустился на верхушки деревьев и, скользя по ним вниз, стиснул в объятиях раненый лес.

Солдат боялся темноты. Она пугала его как ребенка, проснувшегося ночью, чтобы справиться нужду. Его охватил ужас. Некто невидимый, плод его воспаленного воображения, сверкнув в темноте, крадучись последовал за ним и шел неотступно до тех пор, по-

ка вблизи, где-то совсем рядом, тишину не взорвал собачий лай, прозвучавший для него спасительным сигналом. На какое-то мгновение стонущее тело перестало ощущать тяжесть раненой ноги, и, позабыв о боли, солдат поспешил в ту сторону, откуда донесся лай. Лес стал редеть. Смердный дух преследовавшего его незнакомца постепенно отступил, и сузившиеся от напряжения зрачки выхватили еле проглядывавшие в темноте очертания деревьев.

Дрожа от холода, он вошел во двор, освещенный мутным светом бледной луны, и, не обращая внимания на рычание собаки, открыл скрипучую дверь в дом.

В пропахшей дымом комнате радостно и щедро излучала тепло печка. Блики пламени весело отплясывали на облупленной стене. Он подошел поближе и только тогда заметил женщину в длинном одеянии, приподнимавшуюся с циновки перед печкой. Внутри тревожно екнуло от недоброго предчувствия, густые брови сошлись у переносицы, и в то же мгновение он навел на нее винтовку, мучительно ожидая крика. Тело, изготовившееся к прыжку, подтянулось, мышцы напряглись. Кругом стояла тишина. Пытливый взгляд выхватил сквозь мелькавшие блики огня разрумянившиеся лица спящих детей и вновь вернулся к испуганно-изумленному лицу женщины, в ужасе уставившейся на крест на его маскировочном халате. Солдат медленно опустил винтовку. Встретившись глазами с его сверлящим взглядом, женщина невольно выронила из рук поблескивавшую в свете пламени ложку. Ударившись о печку, ложка жалобно звякнула, словно лопнувшая струна скрипки. Женщина сейчас хорошо видела незнакомца. Он стоял посередине комнаты прямо на свету: напряженное, собранное, как у пантеры, тело, мутные, безумные, как у загнанного зверя, глаза — неумолимые глаза хищника перед прыжком на добычу. Женщина понимала: одно неосторожное движение, слово, да просто застрявший в горле звук — и этот незванный, пропахший запахом леса дикарь придет в ярость. Молчание — вот цена жизни, ее и ее детей. И женщина смирилась. Стараясь держаться непринужденно, она бесшумно вошла в примыкавший к комнате хлев, предусмотрительно оставив дверь полуоткрытой, чтобы быть на виду у солдата, опустилась на корточки и принялась доить корову. Когда она поднялась, корова недовольно замычала, в ответ беспокойно подал голос теленок.

Солдат пил большими глотками, не отрывая взгляда от платка на голове женщины. Парное молоко стекало по уголкам губ на грудь.

Во дворе неожиданно неистово залаяла собака, потом, будто в предчувствии чего-то, протяжно завывала. Мужчина перестал

пить, прислушался, затем залпом осушил кувшин и протянул его хозяйке. Вытерев ладонью бороду, он как ни в чем не бывало растянулся на стуле и закурил. Натянутые жилы постепенно расслаблялись. Он перекинул ногу на ногу, но неосторожное движение разбудило вздремнувшую было боль, и она, сверкнув в лучах, вырвалась из груди невольным хриплым стоном, молившим о сострадании. Женщина колебалась всего мгновение, потом присела перед ним на колени и стянула с него обувь. Слегка закатав штанину, она нащупала под коленом припухлость, крепко стиснула пальцами сустав, а другой рукой резко потянула ногу к себе. Боль, следовавшая сразу за хрустом, окончательно добила его. Он прикрыл глаза и теперь мог только слышать, как женщина шумно искала что-то в шкафу, как потом она вновь подошла в нему и присела перед раненой ногой. Поборов искушение посмотреть на усевшуюся перед ним в непринужденной позе женщину, он перевел взгляд на содержимое ее ладони. Она перекидывала что-то похожее на тесто с ладони на ладонь и неожиданно шлепнула им чуть пониже его колена, потом аккуратно перевязала ногу длинным лоскутом и встала. Солдат поднял веки. Теперь в обращенном к нему пристальном взгляде женщины он явственно прочел не только мольбу, но и настоятельное требование. И хотя его ноющее тело все еще нуждалось в отдыхе в расслабляющем тепле, исходившем от печки, он вздохнул, опустил штанину, осторожно просунул ступню во влажный ботинок, перекинул на плечо винтовку и пошел к двери. За спиной послышался шелест циновки — очевидно, женщина вновь опустилась на колени перед печкой. Он не стал оборачиваться, и скрип закрывшейся двери подтвердил его уход.

...Моросило. Грохот проезжавших по уличной хляби бронемашин заглушал стрекотню сороки и стук дятла. Солдат в сдвинутой набок шапке обошел кругом разрушенный снарядом дом и растерянно остановился. Теребя в руках изжеванный гусеницами танка платок, он беспомощно озирает руины знакомого дома, равнодушно внимая сиротливому мычанию теленка в уцелевшем от взрыва хлеву, и вдруг в ярости скомкал косынку и швырнул ее в сторону. Она, извиваясь, яркой змейкой скользнула вниз. А он побежал вперед, догонять товарищей, которые заканчивали бой на другом конце вражеского села.

ВОПРЕКИ СМЕРТИ

Закончилось сплошь заросшее дикой коноплей плоскогорье. А по ту сторону желтеющего луга круто спускалась до самого устья реки извилистая горная тропа и упиралась в каменный мост. Они прилегли: Высокий, с короткой пыльной бородой, и Коренастый, с довольно истрепанной саперной сумкой за спиной. Вокруг стояла тишина, и только в зарослях кустарника то и дело слышался шум от взмаха крыльев.

— На вот, возьми. — Высокий вытащил из кармана маскировочного халата сухарь и протянул товарищу. — Подождем, пока стемнеет.

Вместо ответа Коренастый аппетитно захрустел и стал освобождаться от оттягивавшей плечи тяжести. Бородач неотрывно наблюдал за двумя часовыми на мосту, потом осторожно опустил бинокль в траву и лег. Взгляд невольно уперся в молочно-белые перистые облака, и мысли унеслись к дому. Расплывчатые образы то приближались, то отдалялись, убегая от него словно побитая и преследуемая мальчишками собака. Вот и лицо жены расплылось, лишь смутно напоминая ее реальные черты, а потом и вовсе превратилось в светящуюся точку, поблескивавшую словно глаз зверька.

— Карина давала бинт — не взял, — загадочно усмехнулся Коренастый и, лихо запрокинув голову, жадно припал губами к фляге с водой. — Скоро уже все. Конец. А там можно и домой податься, к детишкам.

Высокий беспокойно заворочался, приподнялся и сел на траву, не скрывая своего недовольства: нить воспоминаний безнадежно оборвалась. Он закурил, прикрывая ладонью сигарету; теперь он думал о Карине — молодой разведенной женщине с неразлучной сумкой медсестры, покачивавшейся на бедре. Обаятельная, живая, она иногда размякала от жалости и позволяла ребятам перед смертельным боем по-товарищески прикорнуть к ее теплым коленям.

— Вроде стемнело, — натягивая на плечи кожаные лямки, недовольно проворчал Коренастый.

— Рано еще, — непререкаемым тоном бросил его товарищ и снова лег. Обхватив широкими ладонями затылок, он попытался вернуть воспоминания, но они не возвращались, будто стерлись, соприкоснувшись с жестокой реальностью, и, чтобы как-то успокоить возбужденный воспоминаниями мозг, он нашел другой предмет для размышлений: “Наша гордость — двуглавая наша Го-

ра — в плену у чужаков, и Мать-река лижет с тоской свои разделенные берега... Вся страна отпечаталась на карте в образе бледноликой девушки, и память нации осталась тлеть в монастырских стенах... И надежда больше не явит нам лика своего в виде глянцевиной веточки оливы в клюве библейской голубки...”

— Стемнело, — занервничал Коренастый и решительно встал.

Голос товарища как будто донесся откуда-то издалека, но через мгновение он уже звучал в ушах в полную силу. Он встал, смял пальцами недокуренную сигарету и, достав из-за пояса стilet, бережно спрятал его в рукаве.

— Ну, с Богом! Пошли!

С осторожностью зверя они начали спуск. Сквозь заросли кустарника еще пробивались закатные лучи. Где-то неподалеку вспорхнула то ли перепелка, то ли горлица. Потом лес снова погрузился в тишину. Спуск наконец кончился. В прибрежных камышах слышен был лишь шум ветра. Они снова залегли, собрались с мыслями и ползком двинулись вперед. Вот и мост. Стремительный прыжок — и задача будет выполнена, а заложить взрывное устройство — минутное дело.

Коренастый снял с плеча сумку, крепко зажал в руке штык с широким лезвием и стал ждать сигнала товарища.

— Ты берешь того, на мосту, я — другого.

Бледная луна отражалась в реке ярким движущимся диском. Из леса донеслось уханье совы. Высокий ясно увидел мерцающий свет от сигареты часового. Он пригнулся, приготовившись к прыжку. От непривычного напряжения заныли мышцы. Все. Время. Прыжок — и левый берег врезался в лицо жертвы. Смертоносная сталь, очертив роковую кривую вверх, вдруг замерла на обратном пути: лунный свет высветил бледное юношеское лицо — в расширившихся от ужаса глазах застыла немая мольба, в горле замер крик приговоренного к смерти, вой поверженной жертвы, предчувствующей смерть. Но была в обезумевших от страха глазах еще и искорка крошечной надежды. И пока неподвижен был штык, время будто застыло в своем бесконечном беге... Мгновение стало залогом вечности. Однако со стороны поста донесся глухой шум борьбы, и промедление было бы смерти подобно — зверь, попавший в силки, мог сам стать ловцом. Рука — сама неумолимая судьба — опустилась и... нанесла удар запотевшей рукояткой: какая-то неведомая сила в последний момент повернула в ладони клинок. Солдат свалился в щебень, который и поглотил звук падения. Наступила гнетущая тишина, нарушаемая лишь рокотом вспенившейся реки.

Парни встретились у наспех сколоченной сторожки. Сапер закончил свое дело. Искры от зажженного шнура разлетались в темноте, подобно светлячкам в ночи. Еще немного, и раздастся взрыв, и тогда бронемшины противника так и останутся на противоположном берегу. Но вдруг со стороны моста, оттуда, где мгновение назад ангел-хранитель спас юношу, вняв мольбам его матери, блеснула вспышка огня и следом раздался оглушительный грохот.

— Что это?.. — недоуменно прошептал Коренастый изменившимся от боли голосом и, осекшись, повалился наземь.

С противоположной стороны моста послышался шум, беспорядочная стрельба, дикий вой, а потом громыхнул мощнейший взрыв, который, взметнув вверх мутную речную волну, прокатился громким эхом в горах.

Высокий подхватил товарища, взвалил его на спину и, согнувшись под тяжестью тела, побежал вперед. Предательский свет фары танка с противоположной стороны реки подобно навязчивому провожатому следовал за ним, взяв его в кольцо. Засвистели направляемые лучом света трассирующие пули.

— Не бросай меня, — хрипел за спиной товарищ. Высокий молчал, бежал, петляя, чтобы оторваться от преследующего их света. Покрытая зарослями высота была близко, совсем рядом. Спина промокла от крови. Еще немного, и они укроются в спасительном лесу...

Последние метры он преодолевал из последних сил и уже не нес, а волочил по земле товарища. Колени дрожали и подгибались; теперь добычей были они. Лес, наполнившись тяжелым дыханием, казалось, сам обезумел от боли.

— Все, — облегченно прохрипел он. — Мы спасены. Слышишь, братишка?

Ответом ему было молчание. Скорее предчувствуя, чем осознавая случившееся, он повернулся к товарищу. Ангел-хранитель, там, на дощатом мосту, омочил-таки в кровавом озере подол своего белоснежного хитона, не услышал на сей раз обращенной небу мольбы, и смерть, не утолившая жажды крови, безжалостной косой в костлявой руке сняла очередную жатву с исполненного мести поля боя и покрыла непроницаемой пеленой последней пристанище отлетевшей души.

Коренастый уже ничего не просил у судьбы. Его раскрытые глаза с нескрываемой враждебностью вперились в небо, а в холодных блестящих зрачках застыло хорошо знакомое Высокому выражение удивления и еще бледная, но уже гаснущая искорка лунного света.



Акоп Мовсес

ГЛАШАТАЙ СВЕТА

Перевод Г.Кубатьяна

АВГУСТ

Пришёл и замер над водой у плёса,
безмолвно в двери света постучал,
меж тем как в поле золотоголоса
твой, август, хор ликующе звучал.
И красное виденье шаг за шагом
меня сопровождало, и когда
я обернулся вспять, нездешним благом
поодаль золотилась резеда
и, чудилось, творится пантомима,
тянулась к свету роща женских рук,
приблизился же — ни души, помимо
колышущихся лилий, нет вокруг.

Ах, что за месяц, я сказал, о Боже,
что за столпы восторга, молвил я,
которые вверху, не зная дрожи,
поддерживают своды бытия!
Насельники твои идут с осанной,
под сводами помедлят только миг
и на восток уходят первозданной
дорогою смиренья напрямик.
Их шествие в далёкой дымке тонет,
и, проводив всех тех, кто был таков,
резвятся дети и на выпас гонят
брыкающихся тёлочек и бычков.

И вот он я, смотри, твой сын и крестник,
прими меня с обузой неудач,
души, а с ней великодушья месяц,
надежд неподражаемый трубач!
Ты даришь нам ночей твоих безлюдных
зарницами сверкающую мглу;
возьми ж и ты — на золочёных блюдах
тебе подносят женщины золу.

Что дал нам ты? потерю какую
отметился? что ждёт нас впереди?
Так сладко в забытии прильнуть щекою
к твоей громадной — на просвет — груди.
Как сладко там услышать вечно бодрых
творцов и ликований и страстей,
что звонко пишут на людских надгробьях
о неизбывной щедрости твоей.

НОЧНОЕ ЭХО

Ночью мой дом садится
на гору, и в нём засыпают
птицы. В полночь

бродит впотьмах
малыш глашатай
золотого света,
его клич расправляет крыла
в поднебесье.

Я тихо встаю
в потёмках.
За пазухой у меня
поёт куропатка,
а на крыше бормочет
явившаяся издалека смерть
с пламенеющим в руке
голубым
цветком.

Есть миг, и никто не причастен к нему:
вдруг уединённо заплачут свирели,
и неумолимо вплетётся во тьму
Двенадцати скорбь, безутешнее трели.

Разверзнется бездна предвестьем беды,
как по мановенью волшебного жезла,
и суша исчезнет в пучине воды,
как если бы рана, всосавшись, исчезла.

Поймите, ей больше не хочется быть,
являть нам свой норов свирепый и милость,
а хочет она бытие — прекратить,
дабы что ни есть — всё в ничто превратилось.

Вселенское око в тот миг соберёт
лучи, что везде и повсюду сияли,
нет, не распахнётся, но наоборот —
замкнётся, закроется, словно вначале.

И в воздухе высей, пустом изнутри,
не станет ни слова, ни света, ни сини,
и — зеркало вдребезги (бей, не робей),
и ты прикоснёшься, что ни говори,
к навеки раскрывшейся первопричине
щемящих мучительных слёз и скорбей.

В мои долины изумрудные вступили
верблюды, лошади, ослы в налётах пыли.

Искусный кормчий возглавляет караван;
знаком ли бархатный свирели голос вам?
В его устах — янтарь посулов, притчей, былей;
кинжал на поясе, в руках охапка лилий.

Он, кажется, во сне со мною говорил.
Узнал! Конечно же, архангел Гавриил!

Откуда движетесь, пространство раскроя?
Что привезли нам в наши дивные края?

Какие пальцы набивали ваши ситцы?
Кем будут шали привезённые носиться

и кто, накинув их на плечи, ощутит
прощальных дальних поцелуев страсть и стыд?

— Эй, сёстры, раскрывайте шире двери!
Не плачьте! Пойте весело, как пери!

Какие жемчуга, взгляните! И коралл!
А эти бусы для тебя он подобрал.

Купите зеркало — пошире иль поуже, —
глядясь в которое, мы видим наши души.

— Сестра, вот роза! Отчего молчишь в тоске?
Она так смотрится на девичьем виске!

ТРИ ГОРЛИНКИ

Я видел трёх горлинок, мама,
летали, не ведая бед;
одна была ночи темнее,
другая — как ясный рассвет.
Одна заглянула в глаза мне
и плачет — да что же с ней? —
другая крыла простёрла,
заворковала нежней.

Три горлинки мне приснились,
я видел их, трёх подруг:
одна — словно север белый,
другая похожа на юг.
Одна из них пела, мама,
присев на кровли села,
другая в полях парила,
раскидывая крыла.

Я видел трёх горлинок, мама,
трёх горлиц видел во сне,
одна надо мною кружила,
и пела другая мне.
Одна пропала, как песня,
другую — как сбили влёт;
лишь третья со мной осталась —
молчит, воркует, поёт.

Ах, мама, она спустилась,
она на груди у меня —
как месяц в глухую полночь,
как солнышко среди дня.
И днём со мною в дорогу,
и в ночь со мной — на ночлег,
поскольку нет её, не было
и не будет вовек.



Севак Арамазд

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Отрывок из романа.

Перевод Г.Кубатьяна

Снаружи, по ту сторону окна, стояла глубокая зимняя ночь. Город словно бы исчез под землёй, и осиротевшая тьма безнадёжно выискивала уголок поудобней, чтоб укрыться от жуткой стужи. Мороз непередаваемой стынью проникал во всё и вся, и от алчного его духа дрожали-подрагивали стены и кровля. Посреди комнаты что было сил топилась маленькая жестяная печка, но вряд ли поспевала согреть самоё себя. Мороз невидимыми своими путами скрутил даже огонь, который наподобие птицы в клетке отчаянно бился в его ледяных объятьях, изредка раздражаясь острым — ни дать ни взять взвизги — треском, и однотонно всхлипывал от бессилья. Арег в одежде съёжился под одеялом и боялся шевельнуться, только бы не утратить ненароком жалкую толику тепла; пускай чуть ощутимое и влажное, оно помогало всё-таки непрестанно чувствовать живое дыхание собственного тела. Было даже приятно мелко-мелко дрожать и сызнова замирать. Арег поневоле провожал взглядом вырывающиеся из печки отблески пламени; те осветленным кругом зыбились на тёмном потолке и с поразительной быстротой меняли бессчётные формы и виды. Как будто неведомая рука без усталости писала что-то и тут же стирала. Арег осторожно переменял позу и со страхом глянул в противоположный угол, где лежала больная мать.

Болезнь неприметно подтачивала силы матери. Внешне всё было честь по чести, но время шло, и мать на глазах увядала.

Глядя, как она безропотно тает, Арег испытывал мучительные угрызения совести и терзался вдвойне — за неё и за себя. Он рад был бы провалиться сквозь землю, только бы не видеть того, про что и думать-то боялся. Его сводила с ума жалкая и покорная материна улыбка, слабые руки, которые неотвратно иссыхали и покрывались тёмными пепельными морщинами; он с болью подмечал, как замедляются мало-помалу её движения и как одышливо мать покряхтывает, когда тяжким усилием опускает голову на подушку. Беспреданно казнясь, что мать из-за него, лишь из-за него дошла до такого состояния, и сжавшись от неизбывной боли, Арег садился к её изголовью и неотрывно вглядывался ей в лицо. Ему мерещилось, он тоже болен её болезнью, болезнь изнуряет его тоже, и он с отчаянной решимостью жаждал умереть вместе с матерью. Закрывая глаза, силился вживе вообразить это мгновенье, но в сердце тут же начинало щемить, оно преисполнялось беспредельным сочувствием и жалостью к себе. Он украдкой плакал и, рассматривая себя в зеркале, искал в лице верные признаки смерти, но всякий раз видел того же, кровь с молоком, юнца с горящими глазами. Душу охватывало глубокое недоумение, обида так и подмывала его хватить по лживой этой стекляшке, разнести её вдребезги, но тут из-за спины доносился покойный и миролюбивый голос матери.

— Сынок, — слабо приподымая руку, улыбалась она, — сядь сюда. Ты говори, я послушаю.

Однажды мать слегла и больше не подымалась. Эта определённая удивительным образом успокоила Арега. Страх смерти разом испарился, и, протрезвев, он обнаружил перед собою мать — она была неизлечимо больна. В том же, что сам он здоров и крепок, не было, напротив, ничего необычайного. Он поневоле начал находить удовлетворение в самозабвенном служении матери, которое вроде бы не имело связи ни с матерью, ни тем паче с ним самим. И он проникся умиротворённой печалью, смешанной с серьёзностью долга и молчаливым состраданием; это чувство равно касалось и жизни, и смерти. Он бросил раздумывать о конце: поскольку была ещё мать, постольку был и он, поскольку был ещё он, постольку была и мать. Он каким-то манером убедил себя, что независимо от жизни и смерти они с матерью всегда есть и будут.

— Гм.

Арег осторожно лёг на спину. В темноте с прежней силой горела печь. Об этом свидетельствовал характерный треск; напол-

няя дом смоляным древесным духом, он глухо взрывался в тишине. Холод пронзительной остротой щекотал Арегу ноздри, и он ощутил во рту терпкий вкус крови. Непроизвольно сжав губы, ни с того ни с сего задумался о великом бедствии, про которое вновь и вновь рассказывала мать: она в ужасе, прижимая к груди своего спелёнатого младенца, с растрёпанными волосами спасалась бегством в горах. Голова у Арега пошла кругом, и он опять оказался лицом к лицу с этим голым фактом. Как знать, не чистая ли случайность, что в ту пору они с матерью выжили? Пытаясь избавиться от адских картин — они так и мелькали перед глазами, — Арег рывком оторвал голову от подушки; в углу напротив под толстым покрывалом беззвучно лежала мать, и впотьмах её постель отдалённо смахивала на смутные очертания могильного холма. Внезапно Арег с болезненной ясностью почувствовал нечеловеческую связь, установившуюся между ним и матерью, и ему на мгновение почудилось, что матери больше нет, умерла.

— Ма, — тихонько позвал он, стараясь унять дрожь в голосе, — ты спишь?

— Что, сынок?

— Как ты, говорю?

— Хорошо. Спи.

Тяжело вздохнув, Арег опять улёгся, и как только голова коснулась подушки, показалось, что затылок его пробуравило некое невидимое насекомое; пробравшись ему в голову и омерзительно жужжа, эта тварь принялась кружить в мозгу. Он вскочил как ошпаренный и, плотно зажав обеими руками уши, потёрся головой о дужку кровати, но жужжанье не прекратилось, а лишь усилилось. Насекомое до того бесцеремонно обнюхивало закоулки его мозга, точь-в-точь искало что-то у него в голове. Наконец омерзительное жужжанье резко стихло. Арегу сдавалось, будто насекомое засело в закутке его памяти и, вонзив острый изогнутый хоботок в нежно-голубую артерию, сосёт из неё кровь. Мотая в потёмках головой, он сбросил нервным движением одеяло, и на него, как из засады, немедля накинудся со злобными своими укусами холод.

— Ты чего не спишь, сынок? — опять послышался из угла голос матери, на диво спокойный и ясный.

Арег не ответил. Он закрыл глаза и, чтобы не тревожить мать, прикинулся спящим, однако тут же сообразил, что безотчётно произнёс:

— Отчего, ма, всё это с нами стряслось?

Какое-то время стояла натянутая тишина, только печка потрескивала по-прежнему. Блики пламени вихревым хороводом метались по тёмному потолку и пели, как поют на шумливом кутеже.

— Не думай ты об этом, спи, — проворчала мать. — Пустое.

— Как так? — вполголоса с досадой и удивлением сказал Арег, однако в тишине и мраке вопрос прозвучал куда громче.

— Время придёт — поймёшь, — почти шёпотом сказала мать и глухо вздохнула. — Теперь спать.

Арег умолк. За словами матери таилась большая безутешная правда, чьё дыхание коснулось его лица. Бог весть отчего уставившись в потолок, он принялся невосприимчивым взглядом следить за бликами пламени, которые сейчас ещё сильнее походили на скачущих во мраке призраков. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия; в ту же секунду слух уловил на улице шаги, доносившиеся, почудилось, из безмерного далека. Он затаил дыхание. Грубо топча снег, кто-то сквозь мороз и пургу непреклонно приближался, и его шаги раздавались всё ближе и громче. Достигнув дома, шаги сразу стихли. Через окно на пол упала исплинская тень, и мороз едва слышно, но внятно задышал в доме. Арег резко сел в постели; окно было плотно завешено войлочной шторой и в темноте почти не отличалось от стены. Минуту-другую он ещё сомневался, потом всё-таки лёг, обстоятельно укутался одеялом, и тут прямо под окном снова зазвучали те же шаги — они неспешно удалялись. Арег напряг слух, однако ничего не расслышал и вдруг остро почувствовал, какая глубокая холодная тишина царит в доме. Печка погасла, и дом погрузился в беспроглядную тьму. Словно бы кто-то тайком пробрался внутрь, украдкой погасил огонь и был таков. По спине пробежали мурашки, он чуть было не подскочил, и тут из мрака донёсся голос матери:

— Спишь, сынок?

— Нет, ма. Думаю, может, печку затопить, потухла.

— Да ну её, — рассеянно сказала мать. — Горит ли, нет ли — всё одно. Главное дело, укройся получше, не замёрз бы. Вот беда-то, не могу встать и своими руками дитё укутать, — вздохнула она.

— Ты-то не замёрзнешь, ма?

— Эх, сынок, это холод от меня мёрзнет.

Установилась непроницаемая тишина.

— Арег? — снова послышался голос матери, звучащий с каким-то нерешительным равнодушием.

— Да, ма?

- Пришла она давеча, так я её восвояси отправила.
- Кто? — не сообразил Арег.
- Смерть, — слабо, но вполне отчётливо произнесла мать. Арег обомлел.

— Не хочу, говорю ей, нынче помирать, нечего сыночку моему в эту стынь и мороз меня хоронить, — поразительно спокойно продолжила мать, будто вела речь о заурядной будничной встрече. — Ступай, говорю, припожалуешь весной, в апреле, когда солнце будет и деревья в цвету. Тогда вот и приходи — хочешь, в открытую, хочешь, втихомолку.

— Ма, — как ужаленный, с мольбой в голосе воскликнул Арег. Его жестоко уязвили материны слова, так откровенно и без утайки преподносившие то, о чём прежде вслух не говорилось.

Мать не отозвалась. Арег упорно ждал ответа, точно тот являл для него вопрос жизни и смерти. Внезапно среди тишины ему послышался потайной, еле различимый звук, будто бы мать, лёжа в потёмках, бормочет что-то себе под нос. Арег наострил уши, но звук оборвался; в то же мгновенье слова матери с изумительной чёткостью воспроизвелись в его мозгу: «Спасся мой сынок». Это поразило Арега. По телу мимовольно пробежал ужас, он чуть было не соскочил с постели, но в тишине сызнава раздался голос матери. Было похоже, что мать смеялась, и смех её долетал из дальней дали — глухой, сдавленный, утробный смех, звуки которого невидимыми иголками покалывали мрак. «Игра», — сложилось из смеха, из его недр, отчётливое слово. Сердце Арега тревожно заколотилось, ему померещилось, будто мать бредит или сошла с ума.

— Ма...

Арег единым махом поднялся и зажёл свет. Его на миг ослепило, какие-то тёмные тени вроде бы кинулись врассыпную и, попрятавшись в укромных уголках, исчезли. Встряхивая головой, он поспешил к материнной кровати и склонился над ней. Мать неподвижно лежала с закрытыми глазами, нечёсанные её волосы, словно пуки блёклых лучей, бессильно гасли на подушке. За одну ночь мать сильно состарилась, её черты вконец обострились, и лицо холодной своей торжественностью напоминало недвижущую маску; глубоко запавшие глаза утонули в тенях бровей, а в глазах сморщенного рта молчала заповедная тайна.

— Ма, — с тревогой повторил Арег.

— Что? — не раскрывая глаз, безучастно, словно в глубоком сне, пробормотала мать. Слабый её голос звучал обособленно, сам по себе.

— Как ты?

— Хорошо.

Это слово неожиданно ярко и выпукло запечатлелось в Ареге, навсегда запало ему в душу. Словно кто-то захлопнул в темноте входную дверь, аккуратно запер её и, спрятав ключ в карман, ушёл; его тихие, постепенно замирающие шаги слышались поодаль. Арег понял, что безвозвратно потерял мать, однако ж утраты не почувствовал. Их обоих, его и мать, объяло простёршееся над ними невидимой сенью великое безмолвие. Арег прильнул к матери, крепко прижал её к груди. Мать иссохла до крайности; горстка плоти, да и только. Арег уткнулся лицом в её волосы, почуял знакомый родной запах — единственное, что осталось в ней неизменным. Он жадно и ненасытно вдыхал этот запах, упивался им, однако мать не откликнулась на сыновнюю нежность, а молча и недвижно лежала в той же позе, словно её вовсе здесь и не было; казалось, она неразличимыми шажками медленно навеки от него уходит. Арег обонял мягкий, сладостно-далёкий запах матери, и его не покидало чувство, что мать — его дитя, малый беспорочный ребёнок. Умерший ребёнок.

С той ночи мать недели напролёт провела в абсолютном безмолвии; больше она не заговорила. Всегда лежала в одной и той же позе с обращённым вверх обострившимся лицом, а крупные, непривычно широко распахнутые глаза ничего не выражали. Казалось, она живёт в некоем ином мире и покоящаяся на кровати пригоршня праха не имеет с ней ничего общего. Чудовищные боли, ещё недавно терзавшие мать, удивительным образом сошли на нет, ей было совершенно безразлично, что творится с её усеянным бессчётными ранками телом. Арег мало-помалу свыкся с этим положением вещей; безропотное смирение матери волей-неволей передалось и сыну.

Мать умерла в конце апреля, погожим весенним днём. Арег похоронил её в укромном каменистом закутке городского кладбища. Посадил в головах у матери зелёный побег платана, немного постоял у могилы и вернулся к себе. Войдя внутрь, был застигнут врасплох, ибо в доме безраздельно хозяйничала пустота. Казалось, что насущнейшие вещи, без которых как без рук, и те бросили его, пропали. Бесцельно кружа по комнате, он бесмысленными глазами подробно обшаривал в ней каждый уго-

лок, точно хотел удержать всё в памяти, и вдруг уловил в воздухе живой дух матери. Ноги подкосились, он плюхнулся на стул — здесь обычно сидела мать — и зарыдал. Осознал, что со смертью матери в нём раз и навсегда нарушилась огромная, неизмеримая, драгоценная целостность, у него нет отныне тыла. Немного погодя Арег упёрся остолбенелым взглядом в бодренько разгуливавших по столу головастых мух и, точно припомнив что-то позабытое, очнулся. Встал, неторопливо собрал самое необходимое, запер дверь, отдал ключ домоуправу и уехал из города. Что беспрестанно и неотступно его сопровождало, так это безымянная улыбка, застывшая на материнском лице с минуты смерти.



Наира Амбарцумян

УПРЯМЫЕ СЛОВА

Перевод Г.Баренца

Не пишу, —
Я тебя помещаю
В воспоминанье своем,
В своем взгляде.
Тело утра прохладно, однако,
Как стена разрушенной гармонии
В венах гаснущего человека.

Моя мысль — как рассада цветов,
Где в словах, в их глазах
Окошечко света
Срывает росинки
С заповедей роз
И мое утро расширяет ими.

Не пишу, —
Я тебя помещаю
В своих глазах,
В своем взгляде,
В запасниках своих воспоминаний,
Рисую синий рай
С открытыми, закрытыми дверями.
Мои мысли
Стремятся к рассвету,
Тело утра прохладно, однако...

После заката,
Когда фонари на улицах
Обнимают мой город за талию,
Я склоняюсь
Пред Господом,
Переполнена песнею мира.

Не люблю ставить точку.
Конец — это Божьи дела.

Если тебя не встречают,
Это вовсе не значит,
Что ты не пришла.

Интересно, насколько
Нежность скалы велика
К цветочку, рожденному ею?..

Каждый вечер
Я с закатом в себе замыкаюсь,
Каждое утро
Я с рассветом опять расцветаю...

Не нужно слов велеречивых.
В словах мне роднее нежность.

Я снег люблю и солнце в снегу люблю,
Чистый снег и лучистое солнце!
Из этой чистоты и тепла
Рождаются дети на свете...

Прислушайся:
Ты слышишь шаги молчанья?

Не будем нарушать его дыханья,
Пусть слово полудня
Покоится в окне моем раскрытом,
Пойдем искать
В цветущей яблоне,
В углу укромном сада,
Сердцебиенье
Нашего дыханья...

Осени последняя надежда
Упала с дерева...

Когда было солнечно, жарко,
Надежде было уютно...
Дерево зябнет, стоит,
Размышляет печально:
“Когда меня смерть заберет?”

Когда голуби вместе с цветами
Отойдут ко сну,
На свете родятся те дети,
Которым не будет нужно
Искать слова для стихов...

Потерять любовь,
А затем обрести ее снова —
Невозможно.
Я сполна за нее заплатила,
Расплатилась всей жизнью своей,
Которую я пережила.
А новая — где она?

Когда завтра небо прослезится,
Ты пройдешь по улицам тоски
И увидишь мечту той звезды,
Что занимается земледелием.
И солнце вновь в улыбке расцветет —
На долгую тысячу лет.

Успокойся!
Просто время теперь такое:
Нынче голуби мира
Не возвращаются с оливковыми ветками,
И слова —
Упрямые, упорные слова —
Стоят на путях ожидания...

Успокойся!
Слова не имеют понятия
О волненье в твоей груди,
Им предстоит пройти нелегкий путь,
Тернистый, сложный, каменистый путь,
И никакой надежды,
Что эти камни превратятся в пар...
Успокойся!..



Татьяна Мартиросян

ANTIONYMA

Рассказ

Меня зовут Мария! Меня зовут Мария, Мария, Мария!..

Не похоже?

Вы правы. В действительности у меня другое имя.

Но вам я его не назову — это выдаст меня с головой. Я люблю и ненавижу его одновременно. Имя имеет магическую власть надо мной. Оно определило всю мою жизнь. И это несмотря на то, что во мне много всякого народу. А Мария... Просто она была первой. Но-Но появилась гораздо позже. А вот Художник — ровесник Марии. Он тоже был с самого начала. Так же, как и Отшельник. И наконец, — Вычислитель. Есть и еще кое-какой мелкий люд, но они не в счет.

Удивительней всего то, что все они, такие яркие, одержимо-страстные и неудержимо-талантливые, почти безропотно подчиняются этой зануде Но-Но. Отшельник в таких случаях пожимает плечами, мол, что поделаешь, — доминанта! Но Отшельник — философ, ему до фени. А вот Мария... На нее просто жалко бывает смотреть. Впрочем, Марию вообще жаль больше всех. Пропадает баба! И это при такой красоте. Недаром, что бы ни нарисовал Художник, его работа дышит Марией.

Мария источает соблазн. Она обладает роковым даром, сродни тому, что погубил царя Мидаса. Мария обращает в любовь все, к чему ни прикоснется. Мужчины влюбляются в нее с первого взгляда, некоторые даже по телефону, только услышав голос, полный обещания. Мне это доставляет массу хлопот, но Мария неисправимо романтична. Она ищет любви с отчаянием верующего в нелепость. Ее мечта — умереть в любовном экстазе. Мария беззаботна, смешлива и грациозна. Она танцуючи пройдет по канату над пропастью.

О, Мария!

Увы, Мария!

Я помню, как это произошло.

Мне было семь лет. Мы, я и мама, ехали домой в автобусе. Мама сидела, я стояла рядом, держась за поручень, а надо мной возвышались трое матросов, болтая между собой и смеясь от полноты жизни. Они, конечно, заметили хорошенькую кудрявую девчонку и принялись заигрывать с ней. Ну как тут было удержаться Марии?! Она заулыбалась, закокетничала... Когда мы сходили, матросы подарили мне кулечек с семечками.

Всю дорогу домой я пробежала вприпрыжку. А дома... Мама поставила меня перед собой и страшным чужим голосом запретила мне разговаривать с незнакомыми людьми, смеяться, улыбаться, брать у них конфеты, семечки... и под конец назвала дрянной девчонкой.

Я была раздавлена, уничтожена. Все мое существо заполнил ужас — я что-то натворила, что-то отвратительное. Я плохая. Я позорю маму. Я — дрянь. Инстинкт подсказал мне, что все дело в том, что матросы — мужчины. В тот день я впервые осознала, что человечество состоит из двух половин. За обретенное знание тотчас пришлось расплачиваться — оно оказалось роковым для Марии. Мамин гнев ледяным градом обрушился на ранний цвет. Мария забилась в самый дальний угол, сжалась в комочек, замерзла и впала в забвение. А на авансцене появилась Но-Но.

Но-Но боялась всего и вся. Она заикалась, была скована, нерешительна, патологически застенчива и неуклюжа. Она натыкалась на все углы, спотыкалась на ровном месте, могла заблудиться в трех соснах. Она боялась темноты, людей, собак, кошек. Она вскрикивала, когда ее неожиданно окликали. Она впадала в отчаяние от малейшего пустяка. Мысли о самоубийстве возникали у нее с частотой естественной потребности. Но-Но казалась себе ненастоящей, не такой как все. Она смутно чувствовала, что некий изъясн вычеркивает ее из жизни, делая чужой для всего остального человечества. Но-Но считала себя уродиной, а то, что к ней постоянно клеились мальчишки, воспринимала как необъяснимую загадку природы. Она страдала, не зная, что ей делать со всем этим. Впрочем, Но-Но страдала всегда и от всего. По ночам ей снились кошмары: экзамены, мрачные запутанные коридоры, злые собаки и очень часто — темная пустынная дорога, по которой она шла одна-одинешенька, подгоняемая жуткими ночными звуками.

Бедняжка Но-Но!

Мне жаль ее.

Но она мне противна.

Своим страхом перед жизнью она, как ядом, отравила кровь Марии и Художнику. Ибо страх убийствен и для красоты, и для таланта.

— Не впадай в патетику.

— А, это ты, Отшельник...

— Кто ж еще-то?

— Ты как будто меня обвиняешь? В чем?

— Ты ведь никогда не пробовала помочь Но-Но.

— Брось. Она безнадежна.

— Так же, как и все мы.

— Не говори так.

— О-о-о! Задело за живое?

— Нет. То есть — да. Я верю в нас, в нас всех. У нас есть будущее. Мы исключительно разные, мы собачимся, каждый тянет на себя одеяло... но мы и помогаем друг другу, питаем друг друга. Ты, Художник, Мария, Вычислитель и остальные.

— Вот-вот. Но-Но не помогает никто. Она совсем одинока.

— Мы все одиноки.

— Не равняй. Наше одиночество — творческое. Оно нам необходимо. И мне, и Художнику, и Вычислителю...

— Но только не Марии.

— ...

— Молчишь?

— Ты же знаешь, мое царство — пустыня. Созерцание, размышление, идеи, абстракции... А это... это ваши женские дела.

Да, это были наши женские дела.

Наши с Марией и, к сожалению, Но-Но.

Удивительней всего то, что первым с N познакомился Вычислитель.

Я к тому времени уже закончила университет и работала в вычислительном центре. Тут, кстати, и пригодился Вычислитель с его потрясающим аналитическим даром. Благодаря ему я быстро сориентировалась в программировании и стала заметной личностью в ВЦ. И ко мне потянулся народ. А поскольку я была общительна и остроумна, меня признал и местный бомонд. N принадлежал к самым сливкам. Начальник отдела, молодой, талантливый, честолюбивый. Прослышав о моих совершенствах, он решил удостовериться лично и приволок американские тесты для определения коэффициента интеллекта. Лучше бы он этого не

делал! Мой IQ оказался намного выше, чем у всех остальных, кто захотел провериться, включая и его самого.

Бедняга N! Что с ним было!

С этого и началось. Он стал приходить каждый день с разными логическими задачками, и я их все решала. Щелкала как семечки. N стал бледнеть, худеть, одним словом, чахнуть. Общество заволновалось, посыпались шуточки, намеки и прогнозы. И тут даже я задумалась. А Вычислитель, до этого изводивший всех головокружением от успехов, сконфуженно отошел в угол. И наткнулся на Марию. И разбудил ее.

Мария открыла глаза.

Мария увидела N.

— Боже, какой красивый!

Мы удивленно обернулись. И замерли, пораженные. Дураки! Ведь мы смотрели уже глазами Марии. А в глазах Марии он... Впрочем, какое это имеет значение?

— Очень большое.

— Но, Мария, дурочка, ты обманываешься, это иллюзия.

— Нет, нет. Он необыкновенно красив. У него светлые-светлые серые глаза. Как небо ранней весной. И светлые-светлые, почти белые, волосы. Как облако, пронизанное солнцем. И рядом с ним всегда пахнет грозой.

— Но, Мария, он самый обыкновенный, банальный блондин.

— Нет, нет. Он невероятно умен, талантлив, остроумен, благороден, великодушен...

— Но, Мария, ты, вернее, мы и умнее и талантливее.

— Нет, нет. Я — ничто перед ним. Один его взгляд, одна улыбка, и я умираю от счастья. Я всегда знаю, чувствую, когда он придет, или, что вот сейчас увижу его за поворотом. А вчера он, уходя, оглянулся, и я увидела над его головой золотое сияние. Что это было?

Мы молчали.

— Что это было?

— Это была его аура, Мария, — не выдержал Художник, — ты увидела его ауру. Это значит, ты влюблена. Ты его любишь, Мария.

Мария изумленно оглядела всех по очереди. Художник восхищенно подмигнул ей, играя кистью. Вычислитель отвернулся, пряча ироническую усмешку. Отшельник улыбался, отстраненно, как и всегда.

Мария ликующе рассмеялась.

— Это надо отметить!

Все зашумели, задвигались. Полетели пробки, затренькали бокалы.

И тут из темного угла, заваленного хламом, донеслось:

— Но!

Застолье замерло. Пирующие недоуменно переглянулись.

— Но! — повторили из угла с назойливостью непрошеного гостя.

Это была всеми забытая Но-Но.

Мария сделала приглашающий жест. Ей было так хорошо, что казалось, даже Но-Но не испортит праздника.

Но-Но затрясла головой, сморщилась, по худым щекам покапались слезы.

Мария шагнула к ней.

— Да что с тобой? Почему ты плачешь?

— Ты сама знаешь.

— Что?

— Но!

— Да что ты заладила: но, но, но! Скажи, наконец, в чем дело.

— Но ведь он женат! У него семья, ребенок. И ты это знаешь!

Мария отшатнулась, как от пощечины, беспомощно оглянулась на остальных. Но странно, за столом никого не было. Она была одна, лицом к лицу с Но-Но. А та продолжала наступать:

— Знаешь, ведь знаешь!

Мария сникла. Голос ее упал до шепота:

— Да, знаю, все знаю.

— Но!

— Замолчи, уйди, ради Бога, уйди.

Целую неделю я не заходила к N. И вообще старалась нигде не показываться. И старалась не думать о нем. Но сердце начинало ныть еще по дороге к офису. А душу отравляли поганенькие мысли вроде “а ведь и он не заходит, не делает попытки узнать, в чем дело. Я ему не нужна. Он меня не любит. Но-Но права. Он играет со мной”.

N же играл — продуманно и тонко. Когда нас окружали люди, был весел, сыпал остротами. Но! Все его речи были полны намеков. И то и дело он поглядывал на меня, мол, слышишь? И я слушала... О том, что ему не хочется домой. И вовсе не потому, что у него много работы. До десяти-одиннадцати он задерживается потому, что жена — совсем чужой ему человек. Она совершенно его не понимает. Они даже почти не разговаривают друг с другом. Какое там! Даже сын ее не любит. А его обожает. С рук не слезает. Плачет, когда его вырывают из отцовских объятий... Как

жестоко приходится расплачиваться за ошибку, совершенную однажды... Только не желайте мне исполнения всех желаний. Если исполнятся мои желания, я стану самым несчастным человеком на свете... Десять лет как жизни нет, потому что мы зависим от женщин, которые не понимают своего счастья...

Все это сопровождалось красноречивыми взглядами и вздохами. И он никогда не упускал случая прикоснуться ко мне, притом не скрывая, что делает это сознательно. И всякий раз электрическая искра перебежала от него ко мне, как предвестница грозových разрядов. Мария трепетала от счастья, Но-Но дрожала от страха, я делала вид, что не замечаю ничего. Но воздух все больше насыщался электричеством. И когда однажды мы оказались наедине, N подошел ко мне вплотную и прижался всем телом. Я отшатнулась.

— Не пугайся!

Сдавленный возглас прозвучал одновременно и приказом и мольбой.

Я робко взглянула на него: больные глаза, какое-то воспаленное лицо, на щеках сизая щетина, волосы клочьями. Он походил на замученное животное. И это щеголь N! Красавчик N!

Я не смела пошевелиться.

— Нам надо поговорить. Ты не идешь домой? Мы могли бы пройти пешком, поговорить.

Я изобразила улыбку.

— Нет, нет. Я не могу. У меня еще дела.

N опустил голову.

— Ну, ладно, Бог с тобой.

Весь вечер дома я проревела. Любимый, дорогой сейчас одинок, измучен, страдает. И это я его извела. Я — эгоистка. Бездушная, бессердечная, холодная, самовлюбленная эгоистка! А он там одинокий, измученный, страдающий...

— Бедный мой, единственный, любимый!

— Но!

— Замолчи, Но-Но. Я больше не хочу тебя слушать.

— Но!

— Он меня любит!

— Но!

— А главное — я люблю! Я! Я никогда не верила, что у меня будет такое. То самое огромное и ослепительное, как солнце. Я пойду к нему. Сама.

— Но!

— Он слишком благороден, чтобы просить меня о такой жертве. И поэтому я должна сама.

— Что?

— Принести жертву.

— Себя?

— Да, да, да, да, да! Это единственный выход.

— Выход куда?

— Мне все равно.

— А потом?

— Не будет “потом”. Будет мой звездный час. И все.

— Да? И что ты сделаешь?

— Не знаю. Не все ли равно?

— А как остальные? Художник, Отшельник, все мы?

— У Художника останутся его картины, у Вычислителя — программы, у Отшельника — гордыня. У каждого из вас что-то есть. А у меня только любовь.

— Не останутся.

— Что?

— Не поняла? Ты же хочешь погубить нас всех.

— И пусть! Какой от вас толк? Вы же не живете по-настоящему.

Вы все — психи. Каждый создал себе удобную среду обитания. Отшельник выкинул из мира все, что ему не понравилось, и остался в пустыне. Художник нарисовал себе мир по своему вкусу и живет в нем. А ты? Тебе двадцать шесть. Несчастливая старая дева!

— Не надо!

— Вы все уроды. Мне надоело. Я ухожу.

— Подожди... Ну хорошо, я могу понять: Отшельник, Художник и Вычислитель тебе чужды, хотя, признайся, если бы не Вычислитель, не было бы ничего этого. Ты не привлекла бы внимания Н.

Ну а Актриса? Это ведь она придает тебе какой-никакой шарм. А Леди? Это ведь ее понятия о порядочности не дают тебе превратиться в вульгарную девку, которой ты так стремишься стать.

— Заткнись, Но-Но, или я убью тебя!

— Вот-вот...

— Хватит. Мне никого не жаль. Кто жалеет меня? У меня сердце разрывается, а ты... Все. Я решила.

— Но ты должна знать, я никогда своих не оставлю. Даже ради тебя.

— Мне ничего не нужно.

— Ну, тогда...

Странная тень прошла по лицу N. Серые глаза сузились. N протянул руки. Мария потянулась навстречу, Но-Но отшатнулась, и я заметалась между ними.

N остановился.

— Ты передумала?

И тут произошло невозможное. Они обе исчезли. И Но-Но, и Мария. Я осталась одна и, не зная, что делать, призвала на помощь Актрису.

Медленно подняв длинные темные ресницы, Актриса прошептала:

— Нет-нет, не бойся ничего. Я — бабочка!

Актриса помогла мне выдержать роль до конца. Одна я не смогла бы вынести эту боль, стыд, а главное, недоумение. Где же звезды? Где обещанное счастье? Неужели я обманулась в своих чувствах? Куда девались восторг и нежность? Ведь мне казалось, что я влюблена. Неужели только казалось? Как больно и гадко! И куда девалась эта Мария? Почему я одна?

Я так ушла в анализ собственных ощущений, что забыла об N. Протянув еще две-три минуты, я наконец взглянула на него. N усмехнулся, хозяйским жестом одернул на мне задрвшуюся кофточку. Где и когда я уже видела это выражение? Выражение снисходительного презрения на прекрасном лице. Мама! Так смотрела на меня мама. Почти двадцать лет назад. И так смотрит на меня сейчас N.

— Ну что, пошли? Да, надо же еще решить проблему квартиры.

— Какой квартиры?

— Ну, квартиры...

До меня дошло.

Приземленность предложенной проблематики послужила последней каплей.

Я остановилась.

— Я сама сказала, что... люблю вас.

— Ну и?

— Не могу понять, почему мне сейчас так... гадостно.

— Потому что все усложняешь. Я сам был таким когда-то. Пока не понял, что так можно сойти с ума. И решил упроститься.

— И получается?

— Мне не дают. Дергают. Считают, что имеют на меня права. А я никому ничего не должен. У меня свои цели и планы.

Он начал что-то рассказывать о каком-то семинаре. Большом научном собрании, где он блестяще выступил с заумным докладом.

Мне стало скучно.

Святые угодники! Мне стало скучно!

— Мне это неинтересно.

И передернулся.

Я поняла, что эти воспоминания были для него важны, что он хотел произвести на меня впечатление, но мне уже было все равно.

— Желаю удачи. Упрощайтесь и дальше, но без меня. Я больше не приду.

Уронив голову на стол, Мария рыдала. Мы молча смотрели на нее. Мы понимали, что присутствуем при агонии. Мария умирала. Вместе со слезами из нее вытекала жизнь. Это была вторая смерть Марии. Она вся ушла в сны, цветные музыкальные сны, пронизанные чувственностью. Иногда это были фантастические видения. Но чаще я будто смотрела фильм с логично развивающимся законченным сюжетом. И, независимо от того, участвовала я в событиях или нет, эти сны-фильмы были ярче и убедительнее реальности.

— Эй! Что это ты? Ты ведь давно знаешь, что реальности не существует. Вернее, она существует только в воображении тех, кто в нее верит. По-настоящему реально только то, что создаем мы сами.

— Знаю, Отшельник. Просто пользуюсь привычной терминологией.

— Я только хотел помочь.

— А что делает Художник?

— Весь в работе. Рисует по ночам. Днем спит.

— Счастливчик.

— Это помогает ему пережить смерть Марии.

— Мария не умерла.

— Тебе хочется так думать. Так хочется, что ты стараешься быть на нее похожей.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты стала краситься, эффектно одеваться. У тебя изменилась походка...

— Это все Актриса. Вошла в роль роковой женщины с разбитым сердцем.

— А ты?

— Что я?

— Какова твоя роль?

— Странно, что именно ты об этом спрашиваешь.

— Потому что сама ты не смеешь.

— Я знаю ответ.

- ...
- Почему ты не спрашиваешь, каков он?
- Потому что знаю.
- Тогда сформулируй. У тебя это получается лучше.
- Ты — это все мы и одновременно никто. Ты есть и тебя нет, точно так же, как и любая реальность. Ты живешь желаниями Мариин, страхами Но-Но, воображением Художника и моими мыслями... Но кто ты сама? Где? Что бы с тобой ни происходило, в этом никогда не участвуешь Ты, но только какая-то часть тебя. И поэтому, куда бы ты ни попала, тебе всегда хочется уйти. И поэтому ты одинока среди людей. И поэтому никогда не бываешь одна наедине с собой...
- А другие? Как они с этим справляются?
- Разве узнаешь правду?
- Я всегда искренна.
- Тогда ответь. Кого ты видишь, когда смотришься в зеркало?
- Ты же знаешь: чаще всего Но-Но. Если повезет — Марию, ну и так далее. Что с того?
- Что и требовалось доказать.
- Что?
- Что ты не знаешь ответа.
- А ты?
- И я не знаю.
- Потому что его нет?
- Потому что ищу.
- Чего?
- Чего мы ищем всю жизнь, как не себя?
- Может, ты и найдешь себя, Отшельник, в своей “пустыне гордости”. Но именно себя, а не меня.
- Ого! Напекаешь на то, что я — всего лишь часть, а ты — целое?
- Да какое я целое! Каждый из вас — целое, потому что вы — цельные. А я? Я — все вы и никто. Каждый из вас идет своей дорогой, а я остаюсь на месте. У каждого из вас есть открытия, изобретения и прочее добро, а мой удел — разбитое корыто. У меня ничего нет.
- У тебя есть имя.
- Которое приносит мне одни несчастья.
- Перестань противиться этому. Это закон бытия. Признай его власть над собой, и он станет твоей реальностью, где ты наконец найдешь себе место.
- Не могу, не хочу!

— Начни с того, что громко произнеси свое имя. Повторяй его. Полюби его. Полюби себя. Только это и даст тебе ощущение реальности.

— Вот-вот! Не реальность, а всего лишь ощущение, сиречь иллюзию реальности.

— Большого и не дано. И поэтому это все равно.

— Чем же мы отличаемся от наркоманов?

— Отсутствием криминала.

— Наш с тобой диалог бесконечен.

— Ты просто боишься его прервать.

— Да.

— Потому что уже хочешь последовать моему совету, но не желаешь признать поражение. Как это по-женски!

— Ха! Фигли!

— Ну-ну.

— Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Мария, Мария, Мария!

— Ерунда. Так у тебя ничего не получится.

— Иди к черту!

— Хм!

— Я попробую. Только не сейчас. Попозже. А сейчас мне хочется рисовать.

— Тебе или Художнику? Ты когда-нибудь хочешь чего-то сама?

— Ты же знаешь, что нет. Я знаю, чего хочешь ты, и чего хотят Художник, Мария, Но-Но, Актриса, Леди и остальные. Но только не я. Значит ли это, что я не хочу ничего? То есть, опять же, что МЕНЯ нет?

— ...

— Эй!

— ...

— Что ты решил? Замолчать навсегда? Уйти? Пожертвовать собой? Ты считаешь, что, если каждый из вас добровольно уйдет, я обрету себя? Не повисну ли я в самой себе, как в пустоте?

— ...

— Эй!

— А ведь и ты врешь, Отшельник. И себе и мне. Мы оба знаем ответ. Такой простой-простой ответ. Это даже не ответ, а диагноз. Ну что, съел?

— ...

— Эй!

— ...

— Я же знаю, что ты не можешь уйти сам. Никто из вас не может. Ну так, что ж? Я завишу от вас не меньше. Я тоже не могу без вас. Я умру, если не смогу рисовать... или беседовать со звездами... или перестану нравиться мужчинам...

— Но только у тебя одной есть настоящее имя. Тебе всего лишь остается признать его.

— Ты противоречишь себе. По твоей теории, нарекли, значит обрели. Тогда какое имеет значение, признаю я или нет?

— Всю жизнь тобой двигал протест против своего имени. Попробуй наоборот. А вдруг получится!

— А если я потеряю...

— Что?

— Все.

— Это разбитое-то корыто?

— Очко в твою пользу.

— И не одно.

— А ты не боишься?

— Чего?

— Если я обрету целостность, вы все исчезнете.

— И все-таки попробуй. Новое качество — это же интересно.

— Из научного любопытства ты готов рискнуть собственным бытием?

— А вдруг то, что откроется, будет намного лучше?

— Ну что там еще может открыться?

— Новое качество — это новые отношения с миром, а это все равно что новый мир.

— Я буду чувствовать себя убийцей.

— Бред. Ты все забудешь, нас и... все...

— А как насчет предательства? Я же предаю вас всех ради неизвестно чего.

— Неизвестность — это же восхитительно!

— Ха! Не бери на понт.

— ...

— Эй!

— ...

— Ну и черт с тобой!

— ...

— Эй!

— ...

— Меня зовут... Меня зовут... Мария, Мария, Мария!



Лилит Карапетян

ДОМ И ЧЕЛОВЕК

Рассказ

Перевод А. Татевосян

Там находился дом, и этот дом держал на своих плечах человек. Уже сколько лет они были — дом и человек. Но светало и темнело, и человек ощущал, что ему уже не хватает сил. Он встретил неизвестно которую осень своей жизни, поскольку не знал, когда родился.

Человеку очень мешали дети. Друг за другом бегали они туда-сюда, время от времени задевая человека, а от этого сотрясался дом. Чего только не делали дети: запрыгивали друг другу на плечи и кричали: “Но, но!” В свою очередь человек старался тверже стоять на земле, чтобы защитить дом от случайных сотрясений.

Человек улыбнулся, но зубы не показались, поскольку их больше не было; вспомнил, как он любил сидеть под деревом и рисовать дом, или как он однажды отнял у кошки замороженную рыбу и съел.

Бывали мгновения, когда человек осмеливался держать дом одной рукой, чтобы взглянуть на наручные часы. Это была довольно долгая церемония. Дом падал на плечи, и человек вынужденно нагибался так низко, что долго не мог выпрямиться. Затем он смотрел на серые часы на своей руке и говорил:

— Время еще есть, успею.

Однажды он заметил, что дом соседа держится не на плечах хозяина, а на четырех столбах.

Его обветренное лицо в очередной раз исказилось. На теле выступил холодный пот, он начал дрожать. Он упал бы наземь, забился бы, Бог знает какие звуки бы издал, если бы на его плечах не держался дом. Вокруг стояла тишина, слышно было только тиканье часов.

Дерзкая мысль охватила его: “Оставляю, уйду в горы, буду жить в пещере, закрою вход дверью, сделаю постель из травы, разожгу костер и...” Здесь он запнулся, не хотел продолжать, точнее — не хотел признаваться.

Солнце восходило и заходило. Дети играли, и слышно было тиканье часов.

Человек на коленях стоял на земле и пытался выровнять дыхание. Руки у него дрожали, от этого содрогался дом. Какой-то незнакомец сказал:

— Ваше время истекло.

И — какое совпадение! — серые часы остановились.

Пришел следующий (поскольку была его очередь), и поставил дом себе на плечи, и поднял очень высоко, чтобы все видели, чей это дом.

Незнакомец спросил у человека, каково его последнее желание. Тот поднял на незнакомца влажные глаза, в которых еще отражалось “дом”.

— Какое сегодня число? — спросил человек.

И когда незнакомец, не ответив на его вопрос, нес человека туда, откуда еще никто не возвращался, человек в первый раз в жизни в полный голос закричал:

— Не успел!

И эхо его голоса услышали все часы, коты и столбы соседского дома.



Петр Алешковский

СЕМЬСОТ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

1

Солнечным зимним утром в преддверии Нового года я прилетел в аэропорт Звартноц. Снега не было, воздух после Москвы показался мне таким свежим, что я не преминул сказать об этом встречавшим друзьям. Они сочли мой восторг естественным для путешественника и завели разговор о погоде. Разговор я не поддерживал и жадно уставился в окно такси.

Армянское нагорье — окраина древнего региона, в котором сошлись средиземноморские цивилизации Европы и Азии. В центре нагорья расположена столица Армянской республики.

Ереван с первого взгляда больше всего походил на греческий или анатолийский город. Городская палитра включала пятна бело-серого, оттенки красной охры, разбавленной до акварельных тонов, в которых желто-оранжевое проступало из цвета толченого кирпича: так случается с глинистым склоном после обильного дождя. Линия домов по краям дороги была не ровная, как в обычном советском городе, а ломаная — пятиэтажку легко сменяли три прилепившихся друг к другу частных домика с обязательными балкончиками. При каждом — ворота во двор. Железные трубы, на которых висят воротные щиты, были увиты одревеневшими на зимнем воздухе змеинными хвостами лозы, они убегали внутрь сада, где сплетали живые беседки. Летом виноградные листья подарят хозяевам и их гостям блаженную тень, без которой здешняя простая и вкусная трапеза немислима, как пахлава — без орехов в меду. Армянская история похожа на

слоеное тесто этого наследия сладкоежек-персов, так плотно она склеена с историей соседей.

Вечером мы с друзьями вышли прогуляться в центр на площадь Республики. Страна, пережив холод и голод девяностых, теперь безудержно строится, предъявляя туристу амбиции, которых у армян, как у любых горцев, предостаточно. Мир Средиземноморья, с которым они соседствовали столетия назад, не исчез, его следы видны и по сию пору.

Греки и римляне подарили армянам страстную любовь к колоннам и аркам, советская власть с ее имперским стилем только укрепила эту любовь. Северный проспект — главная новостройка свободного Еревана — отходит от круглой площади Республики широким лучом. Здания облицованы малиновым туфом. Судороги планеты извлекли его из вулканических глубин, щедро расплескав по всей республике. Из туфа строят дома, он же покрывает каркасы зданий, придавая им сходство с делегацией в одинаковых официальных пиджаках. Стекла окон-очков оправлены полукружьями арок. Арки покоятся на массивных колоннах, стоящих безмолвными рядами по главному фасаду. Единственный шедевр эллинистической архитектуры, сохранившийся целиком, — храм в Гарни, недалеко от Еревана — окружен колоннами, как и полагается по греческому канону. Не заметить “архитектурных цитат” в современном строительстве просто невозможно. Другое дело, что маленький и уютный языческий храм строился для домового молельни знатного вельможи. Новые же здания массивны, как гоголевский Собакевич. На время новогодних праздников стройка остановлена. Высотные краны спят на стылом вечернем воздухе. В домах по новому проспекту еще нет электричества, среди праздничной столицы квартал кажется угрюмым и одиноким. Здания замерли, подобно порядку боевых линкоров в бухте: этакая мечта об утраченном в далекие времена выходе к Средиземному морю.

Упорство, с которым армяне из века в век грызут свои горы, выпиливая большие прямоугольники туфа и базальта, удивляет любого путешественника. В ответ на мой восторг по этому поводу приятель-армянин признался: впервые попав в Москву в возрасте двенадцати лет, он тоже был поражен кропотливостью русских, сложивших дома из “таких малюсеньких кирпичиков”. Тогда ему казалось, что весь мир построен из каменных блоков.

Невидимые с улицы ереванские дворы — прямая противоположность фасадам столичного проспекта. Советские этажные здания напоминают районные общежития, камень запылен, на

веревках, как в итальянских фильмах времен неореализма, сушится белье. Веревки закреплены под окнами на крутящихся блоках, их подтягивают и, по мере надобности, меняют белье, как сигнальные флажки на корабле. Но в первую очередь привлекают внимание жестяные трубы, выходящие из окон каждой квартиры, — следы энергетической блокады, когда рубили городские деревья и старую мебель, вечерами собирались и играли при свечах с соседями в лото или смотрели телевизор, подключенный к автомобильному аккумулятору. Ощетинившиеся трубами городские дома — эсминцы ереванской эскадры.

Гаражи во дворах, часто тоже с автономной печкой, — это уже дымящие на рейде маломерные суденышки. Обычная буржуйка, кстати, претерпела в Армении серьезные изменения. Умельцы делают их так, что горячий воздух, проходя сложный путь по всей конструкции, согревает духовку, плиту и накаляет стенки. Малым количеством драгоценного здесь дерева армянская буржуйка отопливает дом не хуже прожорливой кирпичной голландки. Гараж — мужское пространство, важное и где-нибудь в Великом Новгороде, и, скажем, в Архангельске, — клуб и зимнее хранилище овощей. В Ереване в гараже часто может находиться фирма, ремонтирующая телефоны, или автомойка. Гаражи кормят своих владельцев, их новое использование — свидетельство энергичности нации, вцепившейся в собственность так же, как в обретенную свободу. История гонений приучила армян думать о черном дне. А потому эскадра, заполнившая Ереванскую котловину, пришвартованная к родным горам, отопливаемая газом или все еще дорогим электричеством, не спешит расставаться с жестяными трубами: береженого Бог бережет.

А Бог бережет Армению все века ее существования. Так думают все живущие здесь. Церковь столь же неотделима от культуры армян, как их замечательные выдающиеся носы и глаза, мудрые и печальные у стариков и спокойные, расположенные к незнакомцам у молодежи.

У армян никогда не было крепостного права. Не отсюда ли это чувство достоинства и знаменитое умение шутить в первую очередь над собой — две составляющие внутренней свободы, без которой было бы не выжить, не сохранить государство, которое народ носил в себе сотни лет, пока, наконец, не обрел его. Шутки принимаются на любую тему, но шутить по поводу армянской истории, думаю, не стоит.

2

Полтора века назад, проезжая по Кавказу, Александр Дюма заметил, что для армян ветхозаветный Авраам скончался вчера, а Иаков еще жив. В “Земле Араратской”, упоминаемой в Ветхом завете, берут начало Тигр и Евфрат — реки, на которых возникла древнейшая цивилизация. Ассирийцы и вавилоняне, персы и греки, византийцы и римляне, крестоносцы и сарацины в разные времена соседствовали с армянами, случалось, что и шли на них войной.

Ассирийский царь Тиглатпаласар, как свидетельствуют клинописные таблички, любил воевать с комфортом. В 1113 г. до нашей эры, пойдя войной на армян, он горько сетовал на каменные земли, “острые, как кончик кинжала”, по которым ему и его войску пришлось ковлять пешком, преодолевая яростное сопротивление местных жителей. Гордый завоеватель был вынужден лично вступать в ближний бой и “колоть врага в сердце”, пока весь горный склон не покрывался кровью, “словно одетый в алую шерсть”.

В начале новой эры библейские тексты на сирийском и греческом потеснили и клинопись бородатых язычников-ассирийцев, и похожие на языки пламени письма огнепоклонников-фарси, и прельстительную вязь завоевателей-арабов. За пределами Римской империи армяне первыми приняли христианство (301 год) и первыми в мире объявили христианство государственной религией. Но не прошло и века, как Персия и Византия разорвали армянское государство на части. Армяне должны были ассимилироваться и исчезнуть с карты мира, но этого не случилось благодаря царю Врамшапуху, предчувствовавшему скорое падение своего царства.

Монах Месроп Маштоц с группой последователей, впитав знания лучших библиотек мира, создал армянскую азбуку. Армянские интеллектуалы действовали по прямому приказу католикоса, который получил, как мы бы сказали сегодня, “госзаказ” от царя. Революция сознания свершилась благодаря реформе сверху. Переведенная Маштоцем Библия сохранила народ, подарив ему возможность не только молиться на своем языке, но и передавать свою историю последующим поколениям. Монах Месроп по праву занял место в пантеоне святых и сегодня высится в виде памятника в сердце Еревана, у подножия Матенадарана — института, где изучают и хранят древние рукописи.

Буквы алфавита стали для армян священными. Похожие на тесла, подковы крестьянских лошадей, топоры и серпы земле-

дельцев, они навсегда сплотили нацию. Великий историк Мовсес Хоренаци продолжил реформу: в середине V века он рассказал о своей стране в “Истории Армении”. Его труд сразу же стал эталонным, последовавшие за ним многочисленные “Истории” вплоть до XVIII века придерживались канвы событий, предложенной Хоренаци, — случай невероятный в исторической науке, стремящейся переписывать и изменять прошлое в угоду настоящему. Довершила дело начавшая его церковь. В VI веке она окончательно отделилась от Римско-Византийской, создав Армянскую апостольскую церковь — единство, в котором и пребывает до сих пор.

Различия между армянской и православной церквями незначительны: например, хлеб при причащении употребляется незаквашенный, а вино — не разбавленное водой. Существует мнение, что основные противоречия между нашими конфессиями носят не доктринальный, а, скорее, культурный характер: армянская церковь выковала себя в жестком противостоянии Византии. Она проста и небогата, икон нет, хотя в древности существовали замечательные фрески, кое-где сохранившиеся. Писанные образы стали появляться в храмах лишь недавно, и то в небольшом количестве. Обособленность и, как следствие, культурное одиночество напрямую связаны с традициями жизни во внутренней стране, постоянно подвергавшейся притеснениям более сильных соседей-иноверцев.

Древнеармянское слово “азг”, не утратившее своего значения и поныне, следует переводить, как “нация-народ”. Хаи (самоназвание армян) утратили большую часть своей земли — Хайастана, но обрели чувство неразрывного единства, отнять которое стало не под силу даже могиле. На кладбищах начали устанавливать хачкары — резные кресты из туфа. Раньше они освящали перекрестья дорог или вмуровывались в стены церквей, скрепляя обет дарителя с Богом, а теперь стали символом принадлежности к азгу. Ассимиляция армянам больше не грозила. Европе еще придется пережить много веков раздробленности, чтобы после Французской революции постепенно прийти к пониманию, что во Франции живут французы, в Италии итальянцы, а в Германии немцы, а не швабы, баварцы или жители вольного города Любек.

Затворившись в труднопроходимых ущельях, армяне принялись обрабатывать каждый клочок плодородной земли. За века, проведенные под игом завоевателей, горцы выработали в себе удивительную толерантность к иному мнению и видению мира. Они кропотливо копили мировые знания — собрание Матенада-

рана сохранило множество рукописей на разных языках, многие из знаменитых трактатов уцелели только здесь. Завоевателям всегда исправно платили подати, в том числе и за то, чтобы упорно строить на скалах храмы и молиться Христу так, как постановили однажды.

История допускала армян к Средиземному морю лишь изредка и на короткое время: в первом веке нашей эры — в правление Тиграна Великого, а еще в эпоху династии Рубенидов, царствовавшей в Сисе (Киликийская Армения) во времена крестовых походов. Когда эти царства распались, завоеванные египетскими мамелюками, часть населения разбежалась по свету. Мечта об утраченном море преследовала их. Не потому ли главными центрами армянской эмиграции во все времена были крупнейшие порты мира, такие, как Бомбей и Калькутта, Сингапур и Рангун, Венеция и Сан-Франциско, Марсель и Амстердам, Бейрут и Стамбул? В рассеянии хаи часто становились купцами. Оседая в привычных для них зонах на стыке культур, они брали на себя функцию посредников между разноязыкими соседями. Золотая струйка из купеческих сундуков текла на родную землю, кормила каменотесов и зодчих, возводивших церкви — оплот культуры, хранилища древних рукописей и традиций, без которых азг не смог бы существовать. Так было, так есть и сейчас.

Но главный исход случился после чудовищного геноцида 1915 года, когда полтора миллиона армян (треть всех, живших тогда на планете) были вырезаны турками. Беженцы рассеялись по всему свету. Многие пересекли океан, армяне стали диаспоральным народом. Кого-то приютила Араратская равнина, входившая тогда в состав Тифлисского генерал-губернаторства. Ее площадь составляла лишь 13 процентов от земель древнего Хайастана, и теперь здесь жила меньшая часть азга. За границей осталась земля с их мертвецами и главный ее символ — гора Арарат, известная каждому по красивой легенде о праотце Ное, причалившем к ней на деревянном ковчеге, и по названию коньяка. Впрочем, винодельческие подвалы, в которых его производят, теперь тоже принадлежат иностранцам. Они были проданы французской фирме Перно-Рикар: стране были нужны деньги после изнурительной войны.

3

Я прилетел в Ереван зимой, потому что писать о “солнечной Армении”, как делали в советские годы, казалось неправильным. На годы войны пришелся и энергетический кризис — тогда была

остановлена атомная станция. Теперь ее запустили снова, и Армения даже продает электроэнергию Ирану. В годы блокады снова бежали тысячи — в Россию, в Америку, и, кажется, только в последние годы миграция сменила направление. В 2007-м приехавших на постоянное жительство в Армению было на 20 тысяч больше, чем выехавших из нее.

А вот на заработки ездят отовсюду: из каждой деревни, каждого большесемейного дома. Промышленность разрушена и по сию пору, большие предприятия, такие как гигантский станкостроительный завод в Ереване, стоят. В некоторых, как на химическом заводе в Ванадзоре, жизнь лишь теплится. Правда, работают молибденовый комбинат в Капане, заводы по производству минеральной воды, в горных рудниках Карабаха в небольшом количестве добывают золото. А вот супермаркеты и рынки Еревана полны — сельскохозяйственная страна вываливает на прилавки парное мясо и свежую рыбу, бастурму и овечий сыр, домашний хлеб и слезящиеся горным медом сладости, мацун, сметану и молоко такого качества, что за время поездки я сильно прибавил в весе. Время, впрочем, способствовало обжорству: “Сурб Цнунд” — Святое Рождество, армяне шутя переименовали в “сурб снунд” — святое питание. Окорок—”буд” размером с коровью голову и покрытый корочкой молочный поросенок, травы и соленья, хинкали и кюфта, вяленое мясо и острый зеленый перец, к счастью, зимой теряющий половину своей огненной горечи, — вот далеко не полный перечень яств, украсивших новогодний стол моего знакомого.

4

Каждый армянин любит гору Арарат.

На следующий день я встретился с видным историком, специалистом по исторической географии. Он рассказал, что за долгие века теснимые кровожадными соседями хаи, продвигаясь по Ближнему Востоку в направлении теперешнего Арарата, трижды называли этим священным именем разные горы. Первая была где-то в глубинах древней Месопотамии, там, где до нее легко могли докатиться волны катастрофического разлива рек. Я и сам люблю, когда в древнем мифе удастся нащупать отголосок реальных событий. В конце беседы мне была подарена большая карта “Великая Армения времен царя Тиграна”, изданная на английском языке. Тигран II Великий покорила Месопотамию и Сирию, в его правление целых девятнадцать лет у армян был выход к морю! Царство его было недолговечным и пало под натиском

легионов римского полководца Лукулла. Тигран окончил дни зависимым от Рима царем. На этой карте чуть ли не весь Ближний Восток закрашен темной коричневой краской, параллельными полосками заштрихованы области, платившие дань или зависящие от Великой Армении.

Я вышел на улицу вечернего Еревана. Воздух был чистым, снег белым, после накуренного помещения дышалось легко. На улицах было много народу, семьи с детьми спешили на площадь Республики к елке, там шел бесконечный праздничный концерт. ГАИ в Ереване упряднена, полиции на протяжении трех дней после Нового года запрещено проверять водителей на алкоголь. Нет, они чудные, эти армяне, — чудные, подумал я и пошел отсыпаться перед первым путешествием.

5

Дорога из Еревана шла по плоской равнине. Каждый клочок земли здесь распахан и подготовлен к весеннему севу. Но скоро глаз стал замечать пустые, невозделанные полосы, забитые камнем. По мере приближения к границе куски черного базальта валялись уже в беспорядке прямо рядом с домами маленькой деревни. Кое-где камень собрали и выложили из него невысокие изгороди — так защищали свои огороды от скота люди со времен энеолита. Древний вулкан долго и планомерно бомбардировал округу своими примитивными ядрами, в результате насыпал холмы и раскатил снаряды по равнине. От многовекового лежания камни покрылись лишайниками и приобрели серо-зеленый цвет. Дорога петляла по этому марсианскому пейзажу и вдруг вынырнула на высокую площадку над долиной Аракса. Река текла у подножья высоких гор, напоминающих слоеное тесто. Косые линии отложений передают ритм здешней жизни в дочеловеческий период. Над верхушкой пика парило семейство орлов, на пике пониже прилепилась чужая крепость — за рекой была уже Турция. По армянскому берегу вилась сухая земляная дорога — знаменитая Николаевская. Здесь сохранились арки базальтовых мостов и даже имперские верстовые столбы. Николай I, декабристы, Пушкин проезжали по Николаевской в некогда российские Карс и Эрзерум.

Соскользнув со смотровой площадки, дорога разделилась: мы выбрали ту, что вела к большому селу Ервандашат, другая повернула к соседнему Багарану. С 1960-х оба села живут в приграничной зоне, отгороженные от мира колючей проволокой. Въехать в них можно только через КПП. Но, в отличие от “мар-

сианских” деревень, почвы все-таки здесь богатейшие, и теперь, получив в собственность землю, селяне начали сажать фрукты — абрикосы, персики, а с недавней поры и сливу, из которой получается отменный и самый дорогой чернослив. Сухофрукты приносят стабильный доход.

У крестьянского дома стоял внедорожник. Сам дом — на высоком цоколе, с обязательным балконом в сад, в нем четыре комнаты: гостиная, кухня с железной печкой и две спальни. В кухне у входа, гордясь хромированными деталями отделки, застыл высоченный холодильник “Шарп”, рядом отдыхала стиральная машина. В гостиной на тумбочке — телевизор, подключенный к обязательной здесь тарелке. Бедным хозяйство никак не назовешь. Аккуратные ряды деревьев в саду, персики покрашены зимним раствором чуть зеленоватого цвета, что придает их тонким изогнутым ветвям сходство с изящными иероглифами. Четыре гектара сада, две коровы, поросята, куры, пруд за пограничной полосой, в который раз в году запускают карпов. К зиме их вылавливают и продают в Ереване.

В селе есть школа, больница, огромный сельский клуб. А еще погранзастава, где два юных русских капитана руководят отрядом башкирских ребят и местными солдатами-срочниками. Несколько русских телевизионных каналов, работающих почти в каждом доме, и защищающие границу российские пограничники не дают сельчанам забыть русский язык. Контрольно-следовая полоса, забор из колючей проволоки — все это осталось еще со времен СССР, только за проволокой, у самой реки, видны вспаханные участки и ряды плодовых деревьев, которых прежде там быть не могло.

Землю в Армении раздали сразу, причем в Ервандашате делили по-честному: каждому достались участки с хорошей и с той, что похуже, чтобы было не обидно. Ервандашатцы берут в жены девушек из соседнего Багарана не от лени, а от нежелания выпускать из рук драгоценную землю. В сентябре гибкие ветви сливы гнутся к земле, как удилица, на которых повисли измотанные сазаны. Сазаны, кстати, и сомики, голавль и какая-то еще незнакомая мне рыба водятся в Араксе в изобилии. Правда, рыбная ловля здесь запрещена — демаркационная линия проходит по реке. На каменистом берегу напротив стоит турецкая вышка, силуэт аскера маячит на ее верхнем балконе.

Так сложилось, что действующей церкви тут давно нет, священник приезжает исполнять необходимые требы, зато кресты-хачкары на въезде в село, установленные на больших валунах,

умаслены жирными огарками свечей. На одной из глыб странная человеческая фигура с большими ушами. Камень явно языческий и очень древний, но местные заодно поклоняются и ему.

— Армяне любят общаться с Богом сами, напрямую, — заявил принимавший нас хозяин. Сперва я не придал значения его словам. Сколько раз позже в старинных базиликах без крыш, в пустующих церквях, покрытых изнутри изморозью, я замечал дешевые иконки и свечные огарки — следы тихих молитв. Похожие следы в советские времена оставляли в разрушенных храмах богомольцы, с той только разницей, что здесь так поступали всегда.

После обязательной трапезы мы отправились в село. Дети смотрели на мою камуфляжную куртку и что-то кричали. Подошедший армянин спросил уважительно:

— Русский офицер?

— Да нет, рыбак.

— А, тогда надо летом приехать!

На обратном пути в Ереван Рубен, страстный рыболов, рассказывал о здешней форели, я в ответ живописал ему сомов из Ахтубы, что сильно нас сблизило.

6

Затем была далекая поездка на север, к границе с Грузией. Остались в памяти поля, посыпанные, как манкой, холодным и хрустящим снегом. В полях торчали высохшие стебли подсолнечника, какие-то парни в драных куртках бродили по этим странным зарослям и лениво ломали серые трубки.

— Что они делают?

— Собирают “дрова”, — объяснил Рубен.

В пограничном селе прижились беженцы из Азербайджана. Рубен каждый год снимает здесь одну семью, создает фотоисторию. Меня к героям своей летописи он не пустил.

— Они совсем дикие и абсолютно нищие, я отведу тебя к другим моим друзьям, тебя напоят чаем, согреют.

Рубен привез меня в дом, познакомил с женщиной, с ее дочкой и внучкой и уехал — спешил в сельсовет, чтобы купить своим подопечным запас дров на зиму.

Меня усадили за пустой стол, протерли скатерть, поставили на печку закопченный чайник. Дочь хозяйки затолкала в печку стебли подсолнечника, они моментально разгорелись, и от печки потянуло теплом. Хозяйка на плохом русском принялась рассказывать свою сагу. О том, как кидали камни в автобус, когда они проезжали через азербайджанское село, с которым всегда дружи-

ли, о том, что пришлось оставить все — скот, утварь, дом, о том, как приживались здесь с “хорошей мамой моего мужа”. Как умер сперва муж, потом “хорошая мама”, а чуть позже — старшая дочь: ее укусила змея в винограднике. Женщина спокойно, давно отплакав, говорила, как страдала дочь: они не знали, что нужно везти ее в больницу. Пришедшая соседка, племянница хозяйки, требовала, чтобы мне показали фото умершей. Я смотрел фотографии: застывшее перед сельским объективом личико, семья в сборе, старуха-мать, старик-отец. Сколько я видел таких фото — в Тверской области, в Калужской, в Александрове-Сахалинском. Они похожи друг на друга, как все несчастья и нищета мира.

Внучка хозяйки вертелась рядом и улыбалась мне, как все дети, которых любят. Чуть кокетничая, она схватила со стола леденец — один из четырех, притаившихся в сахарнице на горстке песка, — и бросила в рот. Следов еды в доме я не заметил. Не выдержав, я встал и повел моих новых знакомых в сельский магазин. Перед входом на подстилке из сена лежала толстенная свинья, один глаз был закрыт, свинья лениво взирала на нас другим, утопающим в наплывах сала. На свинью пялился вышедший из близлежащего хлева упитанный поросенок — ему, как и мне, была непонятна сверхъестественная лень его матери: на улице стоял трескучий мороз.

В магазине я купил тушенки, макарон, чаю, сахару, хлеба, конфет, шампанского на Рождество. И еще, кажется, пятилитровую бутылку масла. Чем, в конце-то концов, я хуже Рубена, хлопчущего о дровах? Хозяин магазина вдруг добавил к купленному бутылку дешевого армянского коньяка.

— Это вам от нас подарок, платить не надо.

Когда приехал Рубен, мы, естественно, сфотографировались на память. Внучка грациозно позировала и, кажется, даже покачала пальчиком перед моим носом, когда я погладил ее по голове. Провожали нас, как водится, с сердечными поцелуями.

7

На следующий день отправились в Спитак. В 1988-м Рубен работал в АПН. Он примчался в Спитак днем после землетрясения, его фоторепортажи облетели весь мир. Мы говорили о том, что даже хорошая фотография не может до конца передать трагедию. Поднялись на холм над городом, на его вершине стояла запертая церковь, похожая на ракету. Ее соорудили быстро, обшили алюминием и закрыли на замок — оставили как памятник. Вокруг разрослось кладбище.

— Представляешь, выжившим выделили деньги на строительство. Советских многоэтажек ведь не осталось, рухнули все. Так спитакцы пустили все деньги на памятники, — сказал Рубен.

От холма, насколько хватало глаз, расходились аллеями ряды убранных в черный мрамор могил. На полированных стелах были изображены люди в полный рост — старые, молодые, на некоторых надгробьях изображения, перенесенные с уцелевших семейных фотокарточек, были вырезаны и с обратной стороны.

Здесь, в горах, даже солнце не спасало от проникающего за пазуху ветра. Внизу лежал кое-как отстроившийся город, вокруг застыл молчаливый хор. Мертвецы смотрели на нас живыми глазами. Позируя в прошлой жизни, они так хотели понравиться! Этот хор охранял свои последние дома, каждый под своим именем, все объединенные одной датой — днем гибели. Простым фотографам из ателье удалось то, над чем бьются и из-за чего страдают большие мастера.

Затем мы побывали в Гюмри, бывшем Ленинакане. Рубен отвел меня в квартал бытовок, в которых многие после землетрясения живут до сих пор. Меж проходов висело белье, веселый дымок из труб поднимался прямо в небо. Разрушенный собор на главной площади стоял в лесах — скоро его восстановят.

8

Где бы мы ни останавливались во время путешествия, люди неизменно подходили и печалились по поводу развала СССР: “Раньше я во Владивосток билет спокойно покупал”. В стране, где 99 процентов населения — армяне, язык советской империи исчезает медленно. Дело здесь не только в телевидении и не угасшей еще памяти о совместной жизни. Будущее экономическое развитие, по представлению армян, прочно связано с Россией — главным стратегическим партнером страны. В городах, на дорогах надписи: “Ремонт карбюратор”, “кислород”, “ходавик” и совсем уже таинственное “Абивка губковат”, что означает — здесь делают шумоизоляцию для “Жигулей” и “Волг”. Вывески “Хлеб”, “Карпы”, “Аптека”, “Ресторан” сосуществуют с армянскими.

После войны в Карабахе Армения живет в блокаде — Турция и Азербайджан закупорили выезды, в Иран ведет горная дорога, доступная только для автотранспорта. Грузия тоже дружественная страна, через нее есть доступ к порту в Поти, но железнодорожного сообщения с Россией нет из-за шлагбаума при выезде в Абхазию. Россия — христианский брат и главный друг, у нас проживает самая большая армянская диаспора, но попасть сюда

можно только на самолете. Гастарбайтеры из Армении, вкусив на своей шкуре неприязнь черни, развившуюся в последние годы, все же едут в Россию по привычке и с надеждой, что “свои помогут”. И свои помогают. Впрочем, случается, и раздевают до нитки.

Общество в стране сильно расслоено. Вокруг Еревана строится много частных домов. Некоторые походят на замки Изумрудного города: львы, орлы и прочие геральдические звери — обязательный здесь элемент декора. Некто возвел у самой дороги маленький Большой театр, с квадригой на фризе и фонтанами перед главным фасадом. Рассказывают, что дети владельца, проснувшись ночью, в страхе от блеска золотой лепнины умоляли родителей отвезти их скорее домой, в старую ереванскую квартиру. Впрочем, чтобы увидеть подобное, достаточно выехать из Москвы и посмотреть по сторонам.

Проехав бывший промышленный Ванадзор, мы остановились поесть в маленьком кафе у дороги. Таких шалашей-шашлычных полно по всей Армении, но зимой, из-за отсутствия туристов, многие из них закрыты. Пока жарились шашлыки, хозяин Микаэл рассказал о своей жизни:

— Я родился в этой деревне. Ходил в школу. Мы с вами коллеги, я в десятом классе писал в районную газету. Хотел стать журналистом. Поступил в Ереване в Институт культуры, играл в студенческом театре — охранника в “Антигоне” Жана Ануя. Потом работал в райисполкоме. Направился после в Ленинград в институт киноинженеров, хотел быть близко к кино. Когда учился на последнем курсе, началась война в Карабахе, денег платить за учебу у меня не было. Ушел воевать, заработал диабет. Пришел, взяли меня в МВД, следователем. Пять лет проработал, но не ужился. Почти майор был — ушел. Стал начальником охраны химзавода, три года работал, уволили. Должны мне 1700 долларов. Подал в суд, постановление на руках имею — не отдают. Открыл вот шашлычную, с женой трудимся.

— За что же воевал?

— Не знаю, ничего не заработал, я по-честному живу.

— Война была нужна?

— Как же, конечно, мы за свою свободу воевали.

Шашлык был суховатый, домик требовал ремонта. Когда мы уезжали, Микаэл пожелал нам удачи.

Через двадцать километров Рубен подвез меня к роскошному отелю “Дзорагет”, принадлежащему американскому миллионеру Туфенкяну. Хозяин нанял лучшего в Армении архитектора, сам

же выступил в роли дизайнера. Отель получился комфортабельный и стильный. Та же река в ущелье, что и у Микаэла, те же мощные горы, нитка железной дороги над водой. Напротив, на высоком уступе скалы — запорошенная снегом часовенка. И потрясающая тишина. Мы сильно устали и пошли греться в сауну.

— Ну как? — спросил Рубен.

— Отличный отель, мирового класса.

— Ты понимаешь, что он уничтожит таких Микаэлов?

— Несколько лет подряд я езжу через Тамбов в Астрахань на рыбалку — тот же процесс.

— Представляешь, что будет? Вот-вот в парламенте примут закон о двойном гражданстве, американская и российская диаспоры рванут сюда со своими деньгами.

— Это плохо?

Рубен подумал и сказал:

— Это хорошо, надо развивать туризм.

9

В Армении делают большую ставку на туризм. Заглянув в любой путеводитель, вы обнаружите множество базилик и храмов, возведенных во времена, когда до закладки фундаментов Десятинной церкви в Киеве, первой русской церкви IX века, оставалось два, три и даже пять веков.

Новогоднее обжорство за столом сменилось настоящим пиром для глаз: Сисиан, Одзун, Ахпат, Мастара, Арени, Мармашен, Нораванк — имена этих старинных сел и сейчас звучат во мне, как древняя песня. Рубен признался мне потом, что такого количества церквей сразу он не посещал за все свои поездки по родной стране.

И все же в длинном списке достопримечательностей Нораванк стоит отдельно. Все начинается с ущелья, мрачного, узкого, как щель в иной мир. Недобрая левая скала нависает над дорогой, прячет ее в холодную зимнюю тень. Придорожный знак предупреждает об опасности камнепада. Справа — обязательный ручей или речка, но вода глубже обреза пути, ее не видно. Печаль и сосредоточенность пейзажа подчеркивают редкие кусты, судорожно вцепившиеся в камень. Но вот ущелье распахивается, солнце заливает желтую траву, а яркие и крупные ягоды дикой розы, веселым колтуном переплетенные деревья и синий высокий небосвод кардинально меняют настроение. В стенах ущелья мелькают темные окна пещер-келий, ясно, что цель близка. И вот появляются высоченные скалы, растянутые, как мехи гармо-

ники. Они закрывают долину, а в них — марганец, киноварь, краплак. Специфический красный цвет, меняющий густоту и насыщенность по прихоти освещения. Кажется, что горы раскалены. Перед этим величественным задником небольшая площадка, на ней — две невысокие церквушки, еще какие-то строения, полуразрушенная ограда. Мы подъезжаем к воротам, в которых стоит крепкий бородатый священник и приветствует нас.

Тер-Саак и мы — больше в монастыре никого, зимой тут туристы в редкость. Священник давно дружит с Рубеном. Все пять лет, что служит в Нораванке, он ежедневно фотографирует свой монастырь. Судьба Тер-Саака такова: юношей он пришел в церковь Рипсима в родном Эчмиадзине, городе, где находится престол католикоса, и попросился прислуживать при богослужении. Через пять лет епископ спросил его, не желает ли он стать священником.

— Я сказал: “Да”. Мне назначили встречу с католикосом, он один мог разрешить служение, семинарии я ведь не заканчивал. Думал, он будет спрашивать по теологии, очень волновался. Католикос говорил со мной десять минут и дал благословение.

Тер-Саака направили в горный Капан, район, где люди считаются маловерами. Теперь каждый год капанцы присылают ему грузовик дров на зиму. Нораванк — место особое. Иногда Тер-Саак служит здесь в полном одиночестве, иногда окруженный толпой иностранных туристов. Знаменитые церкви, богато украшенные каменными фигурами и орнаментами, древний университет, от которого остались только фундаменты, и поразительная красота природы. Тер-Саак — хранитель здешних мест.

— Кого учили в здешнем университете? Математиков, врачей, поэтов, воинов. Здесь преподавали самые современные знания о мире, то, что так необходимо нашей стране сейчас.

По мере сил Тер-Саак занимается реставрацией памятника.

— И все же лучше построить одну больницу, чем одну церковь.

Мы сидим в его домике у горящего камина, Тер-Саак говорит:

— Я уважаю буддиста, иудея, одному персу я сказал: если кто тронет тебя, я в Армении буду тебе заступником.

Он улыбается, улыбка его детская. В камине трещат поленья, я закрываю глаза, вспоминаю, что он рассказывал о лестнице в главный храм. Она узка и опасна. Прилепившись к стене, ведет на второй этаж, перил нет — так куры взбираются в сарае на насест.

— Это метафора, Петр. Взойти трудно, но спуститься, оставить Христа, еще трудней.

Мы стоим у собора, и я пересказываю гипотезу о трех Араратах.

— А я вам докажу, что Ной приставал к нашей горе, — Тер-Саак тычет пальцем в кусок туфа.

— Что это?

— Ракушки.

— Из моря?

— А про геологию вы слыхали?

Ничуть не смутившись, он отвечает:

— А я верю.

В ущелье тишина, слышно, как высоко в скалах квохчут перепелки-кеклики. Их следы, похожие на знак “пацифик”, хорошо видны на пушистом снегу монастырской стены.

— Все священники так же веротерпимы, как вы?

— Не знаю, не спрашивал. Вообще-то армянская церковь толерантна, такой ее сделала наша история.

Через неделю в своем доме в Эчмиадзине он покажет мне фотографии — церкви, солнце, облака, красные скалы и небо.

— Зачем армянам море? Наше море — это наше небо.

Рубен, высокий профессионал, ценит его работы, что уж говорить обо мне.

Перед застольем совершаем экскурсию по большому двухэтажному дому. Как всякий мужчина-армянин Тер-Саак считает главным долгом построить жилье.

Тогда в Нораванке мы спешили в Карабах, поэтому, увы, пришлось расстаться. Заночевали в гостинице “Охотник” — ее владелец Тарон страстный охотник, в меню гостиничного ресторана часто бывает дичь. Он тоже воевал, потом взял ссуду, построил гостиницу и теперь может ездить на охоту ради собственного удовольствия. Мы заказали на ужин диких перепелок. Выплывывая на тарелку дробь, запивали пахучее мясо местной тутовкой.

— Только что мы слушали их квохтанье и восхищались природой, а теперь едим их.

— В этом вся правда жизни. Кстати, запах дичины я обожаю с детства, отец часто охотился в капанских горах, там, где служил Тер-Саак.

Отель Тарона оказался комфортабельным, но холодным, электричество здесь экономят. Впрочем, свежий воздух вымел из головы вечернюю тутовку, впереди лежали перевалы, за ними — Карабах.

Атаковать высокогорные перевалы зимой на лысой резине — нелегкое дело. В Ереване, по совету продавца, за 100 долларов

приобрели цепи (“Чистая Италия!”), не клюнули на дешевые “турецкие” — так посоветовал продавец. Выехав чуть свет из гостиницы охотника Тарона, мы начали медленный подъем в горы. Снег шел всю ночь, трассу не чистили. Тридцать-сорок километров в час, такая скорость дает возможность разглядеть склоны, испещренные свежими заячьими следами, и засечь в земляной норе хлопающую глазами сову. Говорить о природе приятней, чем прислушиваться к мотору. Он чихал, теплый воздух вдруг переставал идти в салон, отчего стыли ноги. Начиналась метель, встречные машины пролетали в снежном тумане, иногда без габаритных огней. Двигатель все-таки закипел. Мы напоили его газированной “Бжни”.

На отметке 2650 над уровнем моря по обеим сторонам дороги открылся монумент — разомкнутая зубчатая стена. Ворота в древний Зангезурский район, граничащий с Карабахом. Из снежной пелены выскочил прапорщик, замахал руками, мы взяли его с собой. Спуски, подъемы, редкие занесенные снегом села. Несколько раз пришлось останавливаться и ждать, пока остынет kloкочущий радиатор. Прапорщик, вопреки нашим ожиданиям, в моторах не разбирался.

Я сменил Рубена за рулем, когда въехали в Горис — последний город на дороге в Карабах, принадлежащий Республике Армения. Ветер, перед этим задувавший, стих. Прямоугольные крыши домов в ущелье были покрыты плотным снегом, странная выветренная скала на заднем плане походила на мегалитическую статую в шляпе. Я вспомнил мысль Александра Дюма о том, что в Армении вам кажется, будто Авраам умер вчера, а Иаков еще жив. Глядя на этот тихий город, я бы мог с ним согласиться. Горисцы сидели в теплых домах и доедали новогоднюю буженину, а Рубен бросился надевать на колеса цепи. “Чистая Италия” слетела мгновенно. Тогда мы спустили колеса до единицы и поползли вниз.

Попутчик сошел, пожелав нам удачи. Весь световой день мы ползли по серпантину и наконец въехали в Бердадзор, бывший Лачин — село на границе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В маленькой шашлычной нам сказали, что сегодня со скользкого поворота в ущелье улетела машина, людей отвезли в больницу. Такого холода и снегопада в Карабахе давно не видали.

Первые следы войны я увидел здесь. Бердадзор — длинное, растянутое вдоль реки село. Дома, в которых раньше жили азер-

байджанцы, как напуганное выстрелами стадо, разбежались по ущелью и застыли на морозе, глядя на трассу пустыми оконными проемами и зияя провалами крыш. Когда они стали перемежаться жилыми, в которых горели огоньки, стало как-то особенно не по себе. Пятнадцать лет назад здесь шла война.

Мы еще долго ползли по отвоеванной земле. Только проехав этот путь, я понял, что означала для карабахцев жизнь в советском анклаве. Рубен был в Карабахе с первого дня войны.

— Эту дорогу построили после войны на деньги диаспоры. Тем, кто в советское время хотел попасть сюда к родственникам, приходилось делать крюк в четыреста километров через Азербайджан. Это было сделано специально. Степанакерт постепенно окружали азербайджанскими селами, — пояснял он.

— Как же сюда попали армянские танки?

— А у нас их поначалу не было, это потом их отобрали у азербайджанцев.

Наконец под вечер, в полной тьме, мы подкатили к резиденции карабахского архиепископа в древнем городе Шуши. Владыка, по-армянски “сэрбазан”, ожидал нас к полудню — сейчас у него были гости. Пообещав прийти завтра на рождественскую службу, мы спустились со скалы в столицу Карабаха Степанакерт — город, построенный в советские времена.

11

Автослесаря Борю, слава богу, удалось застать в мастерской. Сидя у раскаленной буржуйки, он листал какие-то документы. Боря усадил нас к огню, налил по пятьдесят граммов коньяка и выслушал нас. В мастерской царил идеальный порядок, инструменты висели каждый на своем гвоздике. Восемь или десять цинков от патронов были набиты доверху болтами, гайками, саморезами и прочей железной мелочью.

— Воевал?

— Здесь все воевали, сначала с охотничьими ружьями и карабинами. Это все натащили уже потом, — Боря кивнул на цинки.

Он открыл капот “Опеля”, заменил вконец изжеванный ремень генератора.

— Опробуйте машину, если что, приезжайте завтра — все отладим.

Счастливые, мы вкатились на центральный проспект. Город праздновал Рождество. Люди, выходящие из церкви, несли свечи, спрятанные от ветра в самодельные колпаки из пластиковых

бутылок. Светились кафе и рестораны, нас обгоняли такси. Пятнадцать лет назад город лежал в руинах, теперь его восстановили и поддерживают такую чистоту, что степанакертцам могут позавидовать чистюли-швабы или голландцы.

После тяжелой дороги уютная жизнь завораживала. И тут машина встала. Завоняло горелым маслом. Тот, кто опекал нас на протяжении всего пути, выполнил свою миссию.

Найти запасной дизельный двигатель на старую “Фронтеру” и в Москве-то трудно, а в Степанакерте он отыскался моментально — у хозяина гостиницы, в которой мы остановились на ночлег. Нашлась и белая “Нива”, на которой мы продолжили путь. Если вы встретите в Армении человека на “Ниве” иного цвета, нежели белый, знайте — перед вами большой оригинал (“десятки”, к слову, могут быть только черными).

Утром мы привезли машину в мастерскую, выпили по стакану горячего чая и обсудили наши проблемы. Боря был в мастерской еще один, сыновья только собирались на работу.

— Рвутся в Красноярск, там у них свои мастерские, хотят бросить отца.

— Почему же сейчас они здесь?

— Приехали на праздники. Помогают. Потом уедут. Там у них семьи.

В его голосе сквозила неподдельная печаль. Боря ковырялся в моторе и рассказывал, что во время боев приходилось менять башню танка в полевых условиях.

— Такое делают только на заводе, а наши научились!

Глаза его, было угасшие, загорелись вновь. На прощанье он что-то сказал по-армянски, чуть позже Рубен перевел мне:

— Оставь мне друга часика на два.

Белая “Нива” повезла нас в Шуши на Рождественскую службу.

12

В XVIII столетии жители плодородных карабахских долин формально были в вассальном подчинении у Персии, но на деле жили весьма независимо. Карабахцы — люди особенные, они жесткие, своевольные, отличные воины (из одного села вышло четыре маршала Советского Союза). В то время в Карабахе еще сохранялось пять древних княжеских родов. Мелики — последние армянские князья, как водится, начали враждовать, и тогда один из них, Шахназар, призвал на помощь Панах-хана. В 1752 году Панах-хан, этнический турок и хан персидской империи, пришел в Шуши со своим воинственным племенем. Он усилил го-

родские укрепления и укротил погрязших в усобицах меликов. В результате к началу XIX века с властью пяти армянских правителей было покончено, но Персии не удалось повластвовать в Карабахе — в 1813 году он вошел в состав российской империи.

Через столетие ослаблением персидского владычества в регионе воспользовались турки — давние противники персов. Когда после Первой мировой войны рухнула Османская империя, на смену ей пришли младотурки. В новом государстве армяне оказались не к месту. Кровавый геноцид очистил земли теперешней Турции от издревле проживавших там армян. На этом, конечно, не остановились — турецкие войска рванули к Еревану, но в 1918 году в тридцати километрах от столицы, под местечком Сардарпат, были наголову разбиты армянским ополчением, которым командовал генерал русской армии Мовсес Силиков. Армяне доказали, что умеют постоять за родную землю.

Конец Первой мировой и революция сильно перекроили карту региона. Нагорный Карабах стал автономной областью в составе образованной Советами Азербайджанской ССР. Степанакерт был построен под Шуши, чтобы лишить древнюю столицу исторического статуса. Постепенно вокруг городов стали возникать азербайджанские деревни. Карабахцы оказались в анклав, постоянно ощущая, что кольцо сжимается. Через горы была Армения, но прямой дороги туда не существовало.

Погромы 1988-го в Сумгаите взорвали давно тлевший заряд, в Армению хлынул поток беженцев из Азербайджана. В Степанакерте возникло движение за освобождение, в селах начались кровавые столкновения между азербайджанцами и армянами. В Ереване был создан комитет “Карабах”, призывавший к объединению с автономией. Новый состав комитета, одиннадцать человек, впоследствии посидевшие в Бутырке и Матросской тишине, составили верхушку власти в образовавшейся Республике Армения. Союз рухнул, и скоро в Карабахе началась война, длившаяся лишь на год меньше Великой Отечественной. 11 мая 1994 года стороны договорились о прекращении огня. На отвоеванной территории возникла Нагорно-Карабахская республика со своим президентом, парламентом, армией, милицией и населением в 150 тысяч человек. Война остановлена, но мирный договор до сих пор не подписан. Карабахцы живут по армянским паспортам, лишь особый код указывает на их принадлежность к не признанной миром республике. Архиепископский престол пока находится в соседней Шуши, где он и был исторически, но новая резиденция сэрбазана Паркева строится в Степанакерте.

Собор в Шуши поздний, он возведен в XIX веке по канонам древнего армянского зодчества. Большое подкупольное пространство лишено украшений, на столбах — несколько современных икон, избранные святые по стенам. Иконостаса и даже алтарной преграды нет. Престол, расположенный в центральной абсиде, так же как и у нас, открыт взору молящихся. В ходе литургии служка закрывает алтарное действо парчовым занавесом, создавая высокий театральный эффект. При этом слова пастырской молитвы четко разносятся по всему собору, объединяя верующих.

Когда мы вошли, служба уже началась. Хор девочек в ярких голубых одеждах пел в правом приделе. Людей было мало, лишь в огороженном низкими перильцами предалтарном пространстве сидели, как в партере, члены парламента республики и министры. Архиепископ Паркев в расшитых голубых облачениях и ромбовидной епископской митре что-то возглашал. Служба велась на грабаре — древнеармянском языке, который понимают далеко не все. Я встал около одного из столбов. Распевные, протяжные гласные обволакивали, ритмичность мелодии была мне знакома, она напоминала греческую службу или знаменный распев — крюковое пение наших старообрядцев, которое можно услышать на Рогожской заставе в Москве. Девочки тянули согласно, смотря поверх нот на руки регентши. Каменное пространство высокой церкви не отапливалось, изо рта поющих часто вырывались облака пара, но никто, похоже, не ощущал холода. Древние мелодии были размеренно печальны. Рожденные в теплом византийском климате, они накрывали пространство, как накрывает его зной, втекали в уши восточным речитативом. Постепенно в нем стали вырывать радостные ноты светлого праздника, так бережно, словно их вытягивали из самой глубины распева. Покатыв главную тему в глубинах гортани, хор принялся наращивать ее и украшать. Голоса зазвенели весело и чисто, взмыли вверх и оборвались, достигнув высшей точки. В алтарь внесли хлеб и вино, сэрбазан окрестил воздух над потиром. Дьяконы и священники пели вместе с сэрбазаном. Когда меняли облачения, я отметил, что карабахский архиепископ узок в кости, даже изыщен.

В левом приделе желающие причаститься пали ниц, священник начал общую исповедь. Хор медленно затянул покаянный мотив. Я обернулся и увидел, что собор полон людей. Стояли в основном семьями: военные, чиновники, рабочие, студенты и, ко-

нечно же, обязательные старушки. Завершила службу проповедь сэрбазана — он бросал в толпу слова, словно звал на бой. Мне перевели: он просто рассказывал о Рождестве и Богоявлении. По обычаю древней церкви, у армян два этих праздника отмечаются в один день.

14

После службы заехали в бывшее азербайджанское село — пригород Степанакерта. Регулярной сеткой спланированные улицы, овцы, бродящие за заборами в поисках подснежной травы, дети, снующие с ведрами и бидонами. Вода течет из трубы на конце села, скоро ее протянут в дома, как уже протянули газ. В Армении газифицированы все села, даже высокогорные.

Дома здесь отдали беженцам и малоимущим. Мы постучались в тот, где на веревке в палисаднике развевались детские колготки и разноцветные майки. За столом у горячей печки шло застолье: четверо мужчин пировали, дети и женщины вились вокруг стола. Хозяин приветствовал нас, на столе тут же возникла бутылка коньяка. На одном из стульев висел армейский бушлат с четырьмя звездочками на погонах. Хозяин — капитан, служит в разведке, здесь платят пятьсот долларов в месяц, что считается в Карабахе “мужской” зарплатой.

— Вам надо познакомиться с моим командиром, он русский, воевал с самого начала, приехал нам помогать и остался. Его тут уважают, женился на армянке, родил двоих детей, отличный парень.

Через полчаса на КПП воинской части худенький срочник уже отдавал честь майору, вышедшему мне на встречу.

— Прошу, не называйте меня по имени и не фотографируйте, разведка, сами понимаете.

Исполняя просьбу, передаю его рассказ:

— Окончил учебку в Печорах, отслужил в псковской дивизии ВДВ, вернулся в родной Ростов-на-Дону. Время какое было? Шкет, которому я мелочь давал на пиво, стал на “Ауди” разъезжать в малиновом пиджаке. Стрелять их, щенков — так посадили бы. Тюрьмы не боюсь, но кем бы я вышел — таким же. Отправился к Лебедю в Приднестровье, наемником, но там уже все сворачивалось. Заработал на джинсы “Монтана”. Дома все поперек глотки, в армии сплошные сокращения. А я в армию хочу, больше ничего не умею и не желаю. Тут начался Карабах. Как пробирался? Это роман. Грузинские менты раздели до нитки,

триста рублей оставили — на кофе с молоком. Но добрался. Тут меня приняли без разговоров, воевал успешно.

Мы сидим в каптерке на пружинной кровати, застеленной серым армейским одеялом.

— Потом мой командир взял меня за руку и привел сюда. Если честно, мы много чего сделали, армию вот на ноги поставили, есть чем гордиться. Назад уже не поеду. Я принял армянское гражданство, имею паспорт. Родители приезжают, навещают меня, внучат. Война только приостановлена, я тут нужнее.

Идем к воротам, встречные солдаты отдают честь, он салюует им привычно, но уважительно.

— Дедовщины у нас нет и быть не может, армия молодая, дух боевой, парни понимают, где находятся и зачем призваны.

Майор худой, жилистый, как и подобает разведчику. Бушлат, вытертые, но чистые штаны, начищенные берцы.

— Есть ли у меня армянская кровь? Наверное, иначе чего бы я тут оказался!

В первый раз за все время он позволяет себе пошутить.

Жмем друг другу руки. Я поворачиваюсь, иду к поджидающей белой “Ниве”. Оборачиваюсь, он тоже оборачивается на ходу, мы оба вскидываем руки.

— Он тут герой, — говорит шофер, — и специалист хороший.

— Плохого командовать разведчиками не поставят, — отвечаю я.

Вечером заходим в кафе рядом с гостиницей. Едим шашлык. В соседних апартаментах веселится молодежь — дети богатых родителей, им играет нанятый оркестр. Музыканты наяривают “Песню про зайцев”. Счастливая молодежь подпевает: “А нам все равно!”

— Неумирающие песни, их еще долго будут петь, я так думаю!

— Рубен поднимает указательный палец.

Мы выпиваем за Фрунзика Мкртчяна.

15

Боевой дух карабахцев олицетворяет сэрбазан Паркев. Ему чуть за пятьдесят, окончил филфак Ереванского университета, диплом писал о нравственных исканиях героя в “Мастере и Маргарите”, получил за него медаль на всесоюзном конкурсе студенческих работ. Увлекался йогой и восточным мистицизмом, заработал черный пояс по карате. Потом все бросил, ушел в семинарию в Эчмиадзине, принял монашеский постриг. В 1989 году

попросился в Карабах. Его родное село до сих пор находится на территории Азербайджана.

Мне рассказывали о его речи на одном из первых митингов.

— Он был прекрасен, наш сэрбазан, говорил вдохновенно, метал громы и молнии. В конце речи поднял крест: “Видите — это наш крест, но я могу опустить его, и он уже меч! Каждый мужчина должен уметь защитить своих родных и свою землю!”

Паркев отреставрировал собор в Шуши, заканчивает возводить семинарию в Гандзасаре и собирается переезжать в Степанакерт (“Пастырь должен жить в столице”). Принимал он нас в своей старой резиденции. Кроме Рубена и меня за длинным обеденным столом сидело человек десять: могучий и толстый священник с женой, местные музыканты, трое чиновников. После простого обеда был дан импровизированный концерт — священник во время срочной службы выступал в ансамбле песни и пляски имени Александрова.

Первая песня — русский романс, подарок мне, заезжему гостю. Потом пели по-армянски. Священник аккомпанировал себе на электрическом органе, микрофон усиливал и без того могучий голос, армянский Портос тянул и тянул последнюю ноту до бесконечности, как учили в ансамбле. У иерархов заведено хвалиться своими поющими клириками, это отмечал еще Лесков. После певца поднялся один из лучших гитаристов Армении — старинный друг владыки и один из лучших исполнителей Армении.

— Давай-ка что-нибудь знакомое, — попросил сэрбазан.

“Знакомым” оказалась композиция Джимми Хендрикса. Услышать такое на церковном подворье где-нибудь в Твери было бы невозможно.

Когда гости ушли, мы поднялись на второй этаж, прошли холодный кабинет и расположились на кухне, у плиты. Телевизор показывал новости ВВС, звук был отключен. Сэрбазан, устроившись в кресле, принялся рассказывать. Сперва о семинарии (о том, что по-настоящему образованных священников в Армении не хватает), затем о дорогах, которые строит в Карабахе диаспора. Люди и дороги — тут главные заботы. Потом, как всегда, заговорили об истории.

— Только у нас догадались придумать молитву, где слова выстроены в алфавитной последовательности.

Владыка Паркев произносит ее, начальные слова запоминаются, как мелодия: “Арарич Бовандак Гютянц\ \ Датавор Еркниц Зоравор...” — Создатель всего сущего, Судия небесный всемогущий...

— Мы хитрый народ — мальчик помолился перед сном и запомнил алфавит!

Сэрбазану было уютно на кухне, мне тоже: Джимми Хендрикс сделал свое дело. В какой-то момент они с Рубеном начали вспоминать героев войны.

— Что вы, церковь, делали для войны?

— Всё, — последовал моментальный ответ.

— Я запомнил его на войне, — рассказывал мне после писатель Левон Хечоян. — Мы отступали. Представляешь: скот мычит, разбежался по горам, ревут трактора и БТРы, бабы плачут, наш разданский отряд прикрывает спешное отступление. Уводим людей, телеги со скарбом, груженных ишаков по дороге. Распутица, идет дождь. Впереди люди, за ними мы. Вдруг сзади я замечаю фигуру, рядом мальчик-поводырь. Это Паркев, он идет последним, смотрит, все ли успели эвакуироваться. Он замыкает бегство, но не спешит. Я тогда его жутко зауважал!

Мне запомнились стальные глаза, полные той энергии, что когда-то принесла владыке черный пояс по карате. Сэрбазан проводил нас до крыльца. За эти три часа я жутко его зауважал.

16

Мы спускались с шушинской скалы в Степанакерт. На скале монумент — танк со свороченной башней. Шуши брали тяжелым кровопролитным штурмом. На танке белые кресты.

— Фашист? — пошутил я.

— Почему? — возмутился шофер.

— Помнишь фильмы про войну? С крестами были танки фрицев, а на наших были звезды.

— Ага, — заулыбался он, — а у нас, чтобы не ошибиться, рисовали кресты. У “них” были полумесяцы.

— Еще были налобные и нарукавные повязки с крестами, — добавил Рубен.

— Ты часто ходишь в церковь?

— Зачем часто? Когда надо, — ответил водитель.

17

На следующий день мы отправились в Гандзасар. Светило яркое солнце, мороз одел деревья в кристаллы льда, для местных — невиданное чудо, для меня — просто красота. В Средние века через перевал в Гандзасар тек ручей паломников. Сейчас дорога была пуста: неубранный снег и бесконечные кардиограммы гор.

Долгий спуск, переезд через обязательную реку, и мы в селе. Вновь отстроенная школа, перед ней бронзовый бюст.

— Спонсор поставил памятник папе, — пояснил водитель, — его отец тут преподавал.

Спонсор — московский миллионер. Он починил дорогу, дал людям родной долины хоть какую-то работу. Он же построил новую школу и две невероятные гостиницы. Первая носит говорящее название “Эклектика”. Посреди села стоит бетонный корабль, украшенный блестящей мозаикой.

— Вам нравится ваш корабль? — спрашиваю стоящего рядом крестьянина.

— Наверное да.

В голосе слышно сомнение.

Внутри — аквариумы с тропическими рыбками, чеканка, безвкусные скульптуры, богатая мебель. В ресторане двенадцать гипсовых атлантов явно нетрадиционной ориентации поддерживают купол свода. Шесть из них длиннородые старики, еще шесть юноши. Все атланты одеты в набедренные повязки из шкур горного козла. Официанты и повар — китайцы. Они подписали контракт на десять лет.

— Ты представляешь, — смеется Рубен, — официантка говорит только по-китайски и на карабахском диалекте, многие армяне не смогут тут даже пищу заказать.

Еда, которую нам подали, была невкусная и грубая. Похоже, что повар переместился сюда из деревни в Сычуани. На десерт нас отвели в зоопарк. В тесных вольерах собрана местная живность: трехлапая рысь, потерявшая конечность в капкане, тупые кабаны, дикая кошка, сошедший с ума от тесной клетки волк, лани, жующие сено вместе с убеленным сединами козлом.

Спонсор не жалеет денег на родной край и, по-видимому, считает себя карабахским меликом. В планах — гидроэлектростанция, форелевое хозяйство. На фризе второй, недостроенной гостиницы в непристойном танце сплелись три русала — обнаженные мальчики с рыбьими хвостами. При въезде на постаменте застыла белая “Волга”, явно мечта детства.

Наверху, на мощной горе, один из лучших памятников армянской средневековой архитектуры — Гандзасарский монастырь, брат и соперник Нораванка. Скромный служитель открыл нам двери.

— Вы смотритель собора?

— Что вы, я дворник.

Появившийся “полудьякон”, как он представился (вероятно, еще не возведенный в сан), провел экскурсию в специально надетом подряснике. Затем подвел нас к стене с остатками нераззорвавшегося НУРСа — собор пытались разбомбить с вертолета. Я стоял, замерев, смотрел на отрешенные каменные лики средневековых серафимов. По плитам шаркала лопата, дворник убирал снег. Вдруг он обернулся.

— Простите, как же я сплеховал, не поздравил вас с Рождеством, — он вдруг поклонился.

Я поклонился в ответ. Из-за ограды раздался автомобильный гудок.

На площадку перед собором вынесло черный “Лендкрузер” и белую “Ниву”. Из машин высыпало десять человек, все сильно подшофе. Парни из Степанакерта, Еревана, Москвы, даже с Сахалина — друзья детства. Много золота на пальцах и на груди, узкие солнцезащитные очки, меховые шубы, дубленки, ватники. Парни окружили нас, вытащили двадцатилитровую канистру с тутовкой, сыр, лаваш, зелень.

— Уважьте нас! Ну, за Рождество! С Новым годом!

Проститься удалось не сразу.

— Черт возьми, мир должен увидеть этот собор! В непризнанную страну турист не поедет, факт! Так что эти гостиницы будут простаивать!

Мы яростно спорили с Рубеном, он уверял, что туристы скоро повалят сюда валом. Потом плавный ход машины и тутовка меня усыпили.

18

На обратном пути в Ереван мы повернули от Гориса на Татев, где находится уникальный монастырь IX—XIII веков. В те времена здесь, кстати, тоже был университет. Главная татевская церковь аскетична, никаких украшений. Чистая геометрия, холодный темный камень, километровая черная пропасть под стеной, сама древняя стена, охраняющая монастырь, и башни по углам. Заметный снегом двор, следы на снегу старые, заветренные. Никого. Правда, дверь в храм приоткрыта. Я зашел внутрь. Узкое стрельчатое окно, в высоте под сводами завис пыльный солнечный луч. Внизу полумрак, в темной нише стынет рака какого-то святого. Завеса открыта, престол пуст. Средневековый монастырский минимализм доведен здесь до абсолюта. Я стоял на неровных плитах пола огромной церкви и вдруг услышал приглушенные голоса. Приоткрыл дверь.

Тесное, сдавленное с боков пространство, маленькая молельня для избранных. В ней, лицом к алтарю, монах в черном армянском куколке-капюшоне читал в голос из толстой книги. Дьякон, стоящий справа, миролюбиво кивнул мне. С десятков девочек и мальчиков от пяти до тринадцати лет стояли позади иерея, молитвенно сложив руки, и, не скрывая любопытства, рассматривали меня. Монах обернулся, лицо его расплылось в улыбке.

— Пожалуйста, постоите с нами.

Кое-как я втиснулся в узкое пространство. Служба продолжилась. Дети в нужный момент произносили слова молитвы. Наверное, проговаривали “Отче наш” и “Символ веры”. Вдруг они сорвались и убежали. Стоять службу до конца не было времени. Я вышел, тихо притворив дверь.

Потом в Эчмиадзине Тер-Саак объяснил мне:

— Детей не мучают долгой службой, очень важно, чтобы им не наскучило. В Капане я вел в деревенской школе кружок рисования. О Христе с ними почти не говорил, в результате дети сами пришли в церковь.

На обратном пути случилось чудо, которое я, должно быть, заслужил своим паломничеством. На закате мне открылся Арарат. Два четких правильных треугольника — большой Арарат и малый — на фоне малинового густеющего неба. Этот простой и совершенный рисунок невозможно забыть, как треугольник Фудзиямы, равнобедренный взмах к небу Килиманджаро. Мы оставили машину и любовались зрелищем.

— Наверное эта гора была святой уже в каменном веке. Везде и всюду люди поклоняются таким горам, — сказал я.

В каменном веке армян здесь еще не было. Рубен дипломатично промолчал, но не удержался и сделал снимок. Я тоже не спросил, какой он по счету в его архиве.

19

За день до отъезда Рубен пригласил меня в гости. На стенах квартиры портреты, Саркис Мангасарян, его отец, был известным живописцем. За столом нас было четверо: мама Рубена, его старший брат, он сам и я.

Отец Рубена родился в 1917-м, умер в 1990-м, не дожив года до создания армянского государства. Он воевал, попал в плен и четыре года провел в концентрационном лагере в Германии. Умение рисовать спасло ему жизнь. Он рисовал охранников и даже жену коменданта, а еще своих друзей. Один из альбомов

сохранился. Карандашные портреты в профиль, четкие, похожие на фотографии, под ними адреса людей из Франции, Белоруссии, России, Украины, США. Если бы эти люди не дожили до освобождения, он написал бы родным, приложив портрет.

Еще на столе лежала маленькая тетрадка — дневник, который Саркис Мангасарян вел в лагере на русском. Семья хочет издать дневник.

Мы пили чай с вареньем. Все трое, перебивая друг друга, вспоминали истории отца о войне, о лагере, о том, как в день смерти Сталина он пел и плясал.

— Эти истории записаны?

— Пока нет.

— Начните с себя, вспоминайте, потом объедините записи с архивом отца.

Из скромности Рубен не рассказал мне, что когда отец умер, в его родном селе крестьяне вырезали крест-хачкар и установили его высоко в горах. Ишак, груженный цементом, сделал не одну сотню ходок вверх. На горе есть еще один средневековый крест — он поставлен в память о каком-то старинном полководце.

20

За несколько часов до отлета ко мне заглянул незнакомец и передал книгу Левона Хечояна “Знойный день”, изданную мизерным тиражом в Москве в 2004 году. Левон — постоянный автор журнала “Дружба народов”, но его плохо знают не только в Москве, но и в Ереване. Проза Хечояна скупая и мощная.

Живет Левон в ИТРовском городе Раздане. Работы там нет, советские НИИ развалились. Семеро из разданского отряда погибли на войне, двадцать человек живут на грани нищеты, двое ушли в бизнес. Остальные с ними не общаются.

Я знаю, у Левона есть роман о войне, но почему-то он не спешит его публиковать.

21

Когда самолет поднялся высоко в воздух над армянскими горами, я увидел внизу дно мирового океана. Оно было покрыто чистым белым снегом. Когда-то по бескрайним соленым водам здесь блуждал, как щепка, накрепко просмоленный ковчег праотца Ноя, пока не пристал к выступающей из бездны треугольной вершине. Так ли вправду важно, где находился тот Арарат?

Прошли семь столетий, отделяющих последнее государство в Киликии на Средиземном море от сегодняшней Республики Ар-

меня. Теперь у армян есть долгожданные герб, флаг, президент, парламент и армия. И еще две огромные диаспоры в России и Америке и множество маленьких. Армяне держатся за веру и священную для них азбуку, спасавших и продолжающих спасать и теперь от ассимиляции. Потому им так важно постоянно помнить, что они библейский народ, первым в мировой истории объявивший христианство государственной религией. Многие века армяне не брались за меч и мирно трудились ради сохранения самобытной культуры, но в XX веке сумели доказать миру, что могут защищать свою землю и с оружием в руках. Победа сплотила нацию, избавила ее от жесточайшей травмы, но, в результате, страна оказалась в блокаде, мешающей развивать экономику. Что это — новый виток одиночества? А ведь мир постоянно меняется. Теперь, когда появилось государство, главной мечтой стала мечта о море, означающая для армян связь с европейской культурой Средиземноморья. Вот только символизируют ее пока эклектичный бетонный корабль, поставленный в прекрасной долине богатым нуворишем, и пиво “Киликия”, напоминающее о временах, когда армянские цари дружили с крестоносцами.

Но коли так крепка память о прошлом, неплохо бы вспомнить о договоре, который император Священной Римской империи Фридрих II Штауфен заключил с турками в начале XIII века. В результате христианских паломников стали беспрепятственно пропускать к Гробу Господнему в Иерусалим, что, кстати, способствовало развитию торговли между Европой и Востоком. В числе тех паломников были и армяне — их патриаршее подворье до сих пор находится в Святом городе.

...Я засунул руку в сумку, хотел вытащить детектив, но нащупал купленный в магазинчике Матенадарана лист с армянской азбукой-молитвой. Пробормотал: “Арарич... датавор... зоравор”... Почему эти рокошующие слова, составленные из букв, похожих на орудия землепашца, так притягивают меня? Только ли потому, что походят на красивую детскую считалочку, родившуюся из древнейшего заклинания? Или потому, что история не кончается и тот, кто знает прошлое, — достоин будущего, а значит, у армян все будет хорошо? Проехав страну крестом, с севера на юг и с запада на восток, я так и не нашел точного ответа на вопрос: умер Иаков или он еще жив?

Виктор Баженов

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Встречи

“Самое страшное, что может случиться, — это оказаться самым богатым человеком на кладбище”.

Слова Параджанова — его жизненное кредо. Я знал Параджанова, бывал у него дома, бродил по крутым каменистым улочкам старого Тбилиси, посещал с ним мастерские художников и дома его друзей, участвовал в общих застольях, беседовал с ним. Не было таких тем, которых мы не касались, живо не обсуждали, которых бы он избегал.

Люди уходят из жизни, и чем дальше они удаляются от нас, тем больше вырастают в нашем сознании, как бы в обратной перспективе, тем интереснее становятся для современников.

Годы шли. Надо бы вспомнить, записать, распечатать негативы, но в случае с Сергеем Иосифовичем меня всегда что-то останавливало. Я понимал несоразмерность фигур. Параджанов великий человек, между нами дистанция, а тут волей-неволей у меня рассказ от первого лица: получается “я”, “я”... “Параджанов и я”. Рассказами об этом знакомстве, о наших встречах я будто привлекаю внимание к себе, к своей особе.

Я сделал много фотографий Параджанова. Они не нуждаются в комментариях, но хотелось бы объяснить историю их появления. Возможно, всё это что-то добавит к образу этого необыкновенного человека. Фотографируя Параджанова, я никогда не думал о возможности опубликовать его фотографии. Сергей Иосифович много знал, много пережил, много рассказывал. Кое-что моя память сохранила. Я никогда не вел записей — отчасти из лени, а главное, чтобы не подставить упоминаемого человека. В беседе вообще неприлично было что-либо записывать. Любая самая невинная запись частного разговора, хранящаяся дома, в письме, дневнике, в те времена могла толковаться как угодно и стать документальным приложением к следственному делу или очередному судебному решению.

Мои фотографии Параджанова (за исключением двух-трёх снимков) нигде не публиковались. Когда его в очередной раз посадили, я дал безымянную фотографию идущего по лестнице человека с цветами в руках одному эстонскому редактору под названием “Грузинский мотив”, и её случайно напечатали. Перебирая фотографии, я решил вспомнить историю их создания — как всё было. Я буду говорить только про то, что сам видел или слышал от Параджанова, и если даже узнавал впоследствии что-то новое, неизвестное мне, я сохраню всё так, как слышал и помнил. Кроме того, я оставляю за рамками повествования расхожие байки и сплетни, многократно тиражируемые.

Всё в жизни определяет случай. Я бродил по Тбилиси с художником Мишей Чавчавадзе. У театра Руставели возле машины стояла группа знакомых: режиссёр Таня Бухбиндер, актёры, художники. Среди них выделялся полный колоритный человек, небрежно одетый, жестикулировавший, громко разговаривавший и смеющийся, невольно привлекавший внимание. “Это Параджанов”, — сказал мне Миша и представил ему.

“Можно вас посетить?” — спросил я. “Откуда ты про меня знаешь? — искренне, без тени рисовки удивился он. (Он всем сразу говорил ты.) И действительно, откуда? Его имя, фильмы, трагическая судьба запали мне в память. Не он один претерпел от режима. Но с ним поступили особенно подло и цинично. Власть фактически похоронила художника, подвергла гражданской казни, при жизни вычеркнула, приговорила к забвению. Фильмы исчезли из проката и легли на полку. Имя не подлежало упоминанию ни в каком контексте, ни при каких обстоятельствах, ни устно, ни письменно, не попадало даже в специальные справочники и словари. Думалось — навсегда!.. (Ведь власть казалась несокрушимой, вечной, как династии фараонов, как египетские пирамиды.)

Но Параджанов художник мирового уровня. За рубежом, особенно во Франции, знали и оценили его фильмы “Тени забытых предков”, “Цвет граната” и другие. Было понятно: это не просто фильмы, а рождение нового кинематографического языка. О нём пошли передачи по “вражеским” голосам, статьи в зарубежных газетах, общественные протесты. На родине же он был прочно забыт. Годами позже на одном суде в Тбилиси пожилой, с виду интеллигентный судья-грузин спросил меня, безошибочно выделив из толпы: “Кто вы такой? Откуда? Фотограф из Москвы? Почему вы здесь?” “Ну, знаете, всё-таки Параджанов, режиссёр...” “С чего вы решили, что он режиссёр?” Как карп, вытасченный из

воды, я стал разевать рот, глотая воздух от возмущения, не в силах выговорить ни слова. “Ничего не доказывай, — сказал мне Параджанов. — Пусть думает, что я хашник”.

В нём действительно не было никакого лоска. Заношенный кожаный чёрный пиджак, мятая рубашка, простые штаны, весь какой-то неухоженный (отсутствие семьи, женской руки). Отёкший, толстый, обрюзглый, с всклоченной шевелюрой и седой лохматой бородой, бегло, с прибаутками, с юмором говорящий порусски и по-грузински, он действительно производил странное впечатление манерой держаться, жестикуляцией, стремлением даже здесь, в суде, ёрничать, актёрствовать и режиссировать процесс.

Несмотря на чудовищный трагизм ситуации, Параджанова всегда восхищало внимание к собственной персоне и театральность в любом виде, пусть и принимающая фарсовые либо комические формы.

Параджанов был неугоден властям: он не гнулся перед режимом. Словосочетание “свобода творчества” — тавтология. Творчество по определению свободно. Для тоталитарного режима художник, даже аполитичный, всегда враг, потому что он выше любой власти, а советская власть не хотела с этим мириться. Его не затрагивали призывы, доносившиеся с высоких кремлёвских минаретов. Параджанов не был ни в каком смысле политическим диссидентом, но в царстве немого рабства он был не сломлен системой и не желал молчать. Хотя его семья и претерпела от режима, в нём не было генетического страха людей, переживших большой террор. Его независимое мышление и высказывания, эстетика его фильмов, творческая свобода в условиях тотальной несвободы не давали покоя партаппарату и киевской госбезопасности. За независимость, за мысли и слова формально сажать было несколько затруднительно. Нужен был предлог, “подстава”, провокация, и её сделали. Как сейчас говорят — нетрадиционная ориентация. Казалось бы, личное дело человека. Нас не касается — не нам судить. По той статье — нетрадиционная ориентация — работала милиция. Но тут дело взяли в свои руки доблестные органы и работали так топорно, что главный и единственный двадцатитрёхлетний свидетель обвинения, раздавленный следственной машиной, дав ложные показания, покончил с собой. Когда Параджанов освободился, он первым делом пошёл на его могилу и положил цветы (так он мне сам сказал). “Убедительное” и, кстати, единственное вещественное доказательство аморальности Параджанова, представленное суду, — радость подростка,

шариковая ручка с картинкой: девушка в закрытом купальнике, перевернёшь — голая.

Приговор суда (я сам читал) — образец юридической безграмотности и абсурдного кафкианского кошмара. Логика и доказательств не требовались. Скроено наскоро и сшито белыми нитками. Текст обвинения опровергал сам себя и вызывал лишь брезгливость. Помню хорошо, но цитировать не хочу. Слишком несуразное изложение несуществующего события. По приговору суда предмет порнографии — “вещдок” ручка — подлежал публичному уничтожению. Это не так смешно, как кажется. К уничтожению приговорили не только злосчастную ручку, но и режиссёра, столько сделавшего для отечественной и мировой культуры. Впоследствии этот текст у Параджанова выкрали из дома. Приговор суда громогласно одобрил сам первый секретарь ЦК компартии Украины Щербицкий, что лишний раз, бесспорно, подтверждает политическую окраску сфабрикованного процесса.

Но это отдельная тема. Его осудили, не дожидаясь апелляции, привезли на каторгу — в каменоломню, где он должен был вручную разбивать в мелкий щебень каменную глыбу размером с телевизор (слова Сержа) Ни один здоровый человек старше двадцати пяти этого не выдержит, — сказал ему тюремный врач. Но он выдержал. Не только выдержал, но в кошмарных лагерных условиях продолжал творить. Карандашом, пером, шариковой ручкой, кистью. Он создал серию графических миниатюр — рассказов в рисунках, своего рода эссе о дантовом аде, переживаемом на этом свете, при жизни и наяву. Рисунки достигли воли и стали известны, прошли передачи по “вражеским голосам”, на Западе был общественный резонанс. Тюремное начальство отреагировало — лишило бумаги, красок, карандашей, создав ещё более жёсткие условия существования, загрузив более тяжкой работой. Слушать об ужасах тюремного ада невозможно. Что-то он опускал, о чём-то говорил. Многие, не выдерживая, выходили из комнаты, когда Серж рассказывал о пребывании там.

Лагерное начальство творчески использовало опыт Соловков. Там заключённых на ночь загоняли в церковь на Секирной горе. Утром десятки трупов спускали вниз по желобам. Холод, лишения, бескормицу приходилось терпеть Сержу. Однажды ему пришлось совсем плохо. За что-то он оказался в холодном полуподвале. Хотелось хоть как-то согреться. С собой была лишь кружка да вода под краном. Кто-то сквозь решётку кинул ему маленький свёрток со щепоткой чая и спичками. Параджанов надёр-

гал из телогрейки ваты, из нар щепок, развёл крошечный костерок и заварил чай. Чем и согрелся: “Вкуснее того чая я не пил”.

Особенно трудно Параджанов переносил духовную примитивность окружающей среды, тесноту и скопление народа, грубость конвоя, беспредел, царящий на зоне, висящий в воздухе сплошной мат. Он сказал, мне, что зеки звали его композитором. “Почему?” — спросил я. “Слово “кинорежиссёр” не в состоянии были выговорить”. Однако некоторые “сидельцы” вызывали у него искренний восторг необычностью своих судеб.

Лишённый красок, кистей, Сергей Иосифович пошёл в туберкулёзный барак, купил у зеков алюминиевые крышки от кефирных бутылок и на них выдавливал с обратной стороны заточенной спичкой тематические многофигурные композиции — “медали”. Полная иллюзия чеканки. Они выглядели так, будто сделаны из серебра. На разработках, в карьере, Параджанов тайно набирал глину, приносил в барак и лепил небольшие барельефы на библейские темы — апостолы Пётр и Павел, тайная вечеря, поцелуй Иуды и др. Часть из них тюремное начальство отобрало, толкуя их как гомосексуальные сюжеты. Тоже мне искусствоведы! В условиях полной несвободы Параджанов сохранял внутреннюю свободу, продолжая творить, когда творить было уже невозможно, когда единственной задачей было физическое выживание. Он выжил и сохранил свободу духа и пламень, горевший в его груди.

Его досрочному освобождению способствовало вмешательство Лили Брик при содействии её зятя — члена ЦК компартии Франции Луи Арагона. Арагон просил об этом Леонида Брежнева, который не понимал о чём речь, да и имя это слышал впервые. Ничего не знаю об отношении Параджанова к Лиле Брик. Он не говорил, я не спрашивал. Но однажды он искал кусок бумаги. Схватил первую попавшую фотографию — он и Лилия. На обороте одним росчерком шариковой ручки нарисовал автопортрет с дарственной надписью и подарил мне. Параджанов вышел раньше на год, несломленный и не согласный ни на какие компромиссы ни с собственной совестью, ни с художественными принципами, ни с властью, ни с Госкино.

“Можно вас посетить?” — спросил я тогда у театра в далеком 1979 году. “Откуда ты такой вежливый? Из Москвы? Приходи, улица Котэ Мехси, 10”.

Взбиравшегося по каменистому склону озирающегося иноземца увидели армянские и грузинские дети. “Вам к Сержу”, — сказали они и провели сквозь лабиринт улочек и домов, лепившихся к склону горы. Бульжником мощеная улица, ворота с калиткой,

просторный двор с ореховым деревом посередине, веревки с бельем, очень старый деревянный дом, шаткая лестница на второй этаж, галерея вокруг дома, комната. Жилая комната — одновременно и спальня, и гостиная, и столовая, и мастерская художника. Не комната, а волшебная антикварная лавка, настоящий театр в миниатюре, забитый декорациями несуществующих спектаклей в ожидании актера, который никак не приходит, но непременно появится — и вещи сами собой оживут, в музыкальных шкатулках заиграет музыка, куклы закружатся в танце, послышится смех.

На полу ковры, на стенах картины и рисунки, шали и платки, подобия гобеленов, ни сантиметра пустой стены. В окнах цветные витражи, всё старинное, подлинное. Рисунки, макеты, керамика рукотворные. Иногда, позже, я замечал в экспозиции пробелы. Значит, хозяину пришлось что-то продать. Жить-то надо. Он мог творить из ничего. Всякий подобранный хлам представлял для него ценность: куклы, шляпы, зонты, старинные вещи превращались под рукой мастера в произведения искусства. Многие найденные предметы доработаны, украшены им: куклам он шил платья и подбирал шляпы, цветы и антураж. Серж был неистощим на выдумки. Вещи рукотворные, практически музейные, он легко раздаривал не только детям друзей и знакомых, но и любимым детям, гурьбой приходящим со двора в его дом.

Он не любил, боялся одиночества. Казалось, быт без семьи его в какой-то мере тяготит. Всю силу семейных привязанностей он перенёс на сестёр и племянника Гарика, и даже вспыхивающие ссоры были выражением этой любви.

Хозяин, как падишах, восседал за круглым, всегда накрытым столом в окружении свиты — людей самого разного калибра, от народных артистов и заслуженных художников до торговцев, спекулянтов и криминальных авторитетов — друзей по зоне. Со всеми он находил общий язык и, как Сократ, вёл беседу, давая краткие, убийственные характеристики любым персонажам, событиям и явлениям. Говорят, короля делает свита. Это не про Сержа. Параджанов сам делал свиту, определяя и состав её, и направленность и содержание беседы. Однако в нём не было ничего менторского, за столом царила полная свобода мнений. Очень много говорили о кино, о взаимоотношениях киноруководства, Госкино с художниками. В Тбилиси был хороший просмотровый зал, где показывали зарубежные фильмы, не поступавшие в общий прокат. Шло горячее обсуждение новых картин.

Один молодой человек, кажется Алик, похвалил какой-то индийский фильм. “Да ты что, всерьёз?” — удивился Параджанов. “Да нет же, есть один большой индийский режиссёр...” — сказал Алик. “Есть большой индийский слон”, — миролюбиво закончил диспут Серж.

Когда Параджанов отбывал срок в лагере, в стране гремел фильм Василия Шукшина “Калина красная”. Сергея Иосифовича спросили, как реагировали в зоне на фильм, ведь тема близкая контингенту, можно сказать родная. “Зэки подходили, плевали в экран и уходили из зала”. “Почему?” “Там, где тебя унижают и уничтожают физически, запахло (любимое его слово-оценка) петь и плясать в самодеятельности перед администрацией”. О художественных достоинствах фильма вообще не говорил. Кто-то возмутился: “Но хоть что-нибудь да понравилось в фильме?” “Слово “бордельеро”, — ответил Серж.

Зашёл разговор об опальном режиссёре, художнике Рустаме Хамдамове, о его творчестве. “Первый раз в жизни я испытал комплекс творческой неполноценности, когда во ВГИКе увидел курсовую работу Рустама Хамдамова “В горах мое сердце” по Сарояну”.

Книг в доме у него не было, даже антикварных, он никогда не читал. (Лермонтова, однако, хорошо знал и любил, как вообще всё связанное с Кавказом). Образы он черпал из жизни и искусства, да и ритм жизни не предполагал тихого сидения за книгами — времени ни на что не хватало. Внешний мир, советская действительность его совсем не интересовали. У него не было ни телевизора, ни приёмника, ни газет. Человеческое общение — главная ценность его жизни.

Непонятно, когда он работал, писал сценарии, рисовал, рукодельничал. Дом всегда с утра до ночи был набит народом. Однажды ему пришлось просить людей высвободить ему день — не приходиться. Надо было собрать громоздкий и трудоёмкий коллаж на том же обеденном столе. Люди тянулись к нему, но некоторые его избегали: члены коммунистической партии, лица с положением — дабы не быть заподозренными в диссидентстве.

Сам факт его существования, общение с ним, его творчество оказали громадное влияние на артистов, режиссёров, художников, людей театра, сценографов в Тбилиси, да и не только в Тбилиси. Театр он знал, бывал в Москве на Таганке, у гремевшего тогда Юрия Любимова. Высоко ценил спектакли Роберта Струа, был завсегдаем балета. Когда ему нравилась какая либо

сценографическая или режиссёрская находка у известных мастеров, он ничтоже сумняшеся говорил: “Это я придумал” и начинал на столе из подручных предметов выстраивать сценографию и мизансцены, всегда очень убедительно показывая прообраз, момент зарождения находки. Кто его знает, где правда, а где вранье. Однако всё это быстро разносилось вокруг и вызывало толки и обиды.

Пришедшая со мной актриса ведущего театра спросила: “Правда, что это вы, по слухам, придумали финал нашего спектакля?” “Я отказываюсь говорить на эту тему”, — с пафосом заявил Серж, косвенно подтверждая своё авторство.

В одном спектакле, “Ричарде Третьем”, на шестах колёса, а на них вороны, ждущие падали. “Чего-то не хватает, понимаешь? Хорошо бы они иногда летали”, — сказал Серж автору, художнику Мириану Швелидзе.

Иногда его посещали совсем уж завиральные идеи. “Хочу поставить Гамлета, а Эльсиномом чтобы был Кремль”. “Что вы, Сергей Иосифович, — сказал я, — какой Кремль. Он такой сусально-пряничный, как с конфетной коробки. Нет в нём давящей мрачности Эльсинора. Да ни Гамлета, ни Лаэрта там днём с огнём не сыщешь — одни Полонии”. “Ты так полагаешь? Ну да ладно, может, твоя правда, да и поставить всё равно не дадут”.

Бывая в Тбилиси наездами, я как снег на голову сваливался в его дом, прямо к столу (телефона у него никогда не было). Восторженный возглас хозяина: “Русский пьяница пришёл!” Он, по-видимому, считал мою способность к неограниченному потреблению спиртного какой-то моей личной заслугой, чем-то вроде олимпийского рекорда. Стол всегда был полон изысканных вин, коньяков и снеди: подарки армянских почитателей. Сам Параджанов как-то незаметно для окружающих не пил. Сидел за столом с полным бокалом, подливал гостям, угощал, каламбурил, ёрничал, сочинял и рассказывал небылицы, выдумывал и подначивал. Люди с завышенной самооценкой не выдерживали подначек и критики и покидали дом: “Погладил их против шерсти — не понравилось”, — говорил в таких случаях Серж.

Однажды, войдя в дом, я увидел за столом Кайдановского в большой компании местных людей за накрытым столом. “Великий Баженов пришёл”, — восторженно закричал Серж сходу. Кайдановский, будучи впервые в доме, принимал стёб Сержа за чистую монету. Я неловко чувствовал себя в такой роли, величия во мне не было ни на копейку. “Отчего мы не встречались с вами в Москве?” — спросил участливо доброжелательный Кайдановс-

кий. “Да так как-то всё... даже и не знаю”, — промямлил я, не зная, что сказать. Но тут внесли большую кастрюлю с дымящимся пиром. Участники застолья оживились и зашевелили носами. Налили по новой и выпили в ожидании. Но Параджанов вдруг объявил: “Пити будут есть только Кайдановский и Баженов”. Все притихли, замолкли. Нам налили по большой пиале, и мы неторопливо ели. Все, включая Параджанова, молча, как в театре, не шелохнувшись смотрели на это действие. Когда мы закончили и положили ложки, все с надеждой продолжали смотреть на кастрюлю. Но режиссёр был непреклонен. Он не хотел портить спектакль, закрыл крышку и приказал унести пиром. Утратившая надежду публика ожила, зашевелилась, застолье продолжилось с прежним размахом, тем более что яств на столе было в избытке.

Надо добавить, что, несмотря на беспокойство и шум, соседи в доме его любили и помогали по хозяйству, содействуя устройству роскошных приёмов. Пожилые стройные женщины всегда в глухих чёрных платьях до пола молча влияли в комнату, неся громадные круглые расписные подносы. На каждом выложены были невысказанной красоты натюрморты из овощей, фруктов, мяса, зелени, как на полотнах малых фламандцев, причём каждая несла своё коронное блюдо и так же молча, полная достоинства, удалялась.

“Где ты бываешь, с кем общаешься, с кем пьёшь? Тебе нужно бывать в известных домах”, — говорил он. Его любили в Тбилиси, принимали в лучших домах. В доме Верико Анджапаридзе и дочери её Софики Чиатурели, куда он привёл меня. Увидев, как я остановился восхищённый перед никогда прежде не виденной картиной Пиромани, сказал: “Правильно мыслишь, одну такую украсть — и старость обеспечена”.

Собралось несколько человек. Разговор был о кино. О возможных ролях замечательной актрисы Софики Чиатурели. Подробности не помню. Запомнилось лишь, мы пили (вернее, пил один я) роскошный американский коньяк из бутылки, сделанной в виде кремлёвского Царь-колокола с деревянной перекладной на стеклянной притёртой пробке.

Широко живя даже в стеснённых обстоятельствах, Параджанов был крайне деликатен к чужим тратам. От Софики он дозволил к одной женщине и сказал: “Мы гуляем у Софики, подвезжай. Возьми такси, я выйду и отпущу шофёра”. Не оплачу, не верну деньги, а вот такая деликатная форма. Другой раз он должен был принимать танцора Вилена Галстяна с труппой армянского балета, но вдруг остался без денег. (Выкупил картину Гаянэ

Хачатурян, чтобы та не ушла заезжим покупателям, уже внёшим деньги и требующим каких-то исправлений в холсте.) Разразился скандал, покупатели пришли, требуя картину назад. Параджанов показал пальцем на меня, сказал: “Вот свидетель из Москвы, пусть скажет”. Я, сохраняя серьёзность в лице, сказал: “Сергей Иосифович не желает никаких переделок в холсте, кроме того он хочет, чтобы картина осталась на родине”. Аргумент по тем временам неотразимый. Картину он в тот же вечер подарил Вилену.

Безденежному Параджанову я сказал: “Есть же у меня какие-то деньги”. “Станем мы тратить твои командировочные!” — и не взял. Ему открыли кредит в какой-то местной кебабной, и он устроил роскошный приём гастролирующим в Тбилиси армянским актёрам балета. Вообще он не порывал никогда связи с родиной предков, используя любую возможность для общения со знакомыми и не знакомыми армянами, посещающими его дом. С Гаянэ его связывала общность судеб армян, живущих в диаспоре, трагическая общность собственных судеб художников, не признанных на родине, и общность творческих стремлений.

Его притчи, беседы, рассказы — отголоски или заготовки готовых сценариев. Его непрерывный стёб, по-видимому, был защитной маской от повседневного ужаса окружающей жизни. Он красочно, с мельчайшими подробностями, словно очевидец, излагал беседы Сталина и Орджоникидзе, перемежая русские и грузинские слова и обороты, жестикуюлируя, меняя интонации разговора персонажей. Накал беседы двух кавказцев нарастал, революционные воспоминания переходили на сегодняшнюю политику, политика перемешивалась с бытом, быт с партийной борьбой. Мы, как замороженные, созерцали и слушали этот театр одного актёра. В финале его Сталин говорил: “Товарищ Орджоникидзе, на вашем месте я пошёл бы и застрелился”. Будто на наших глазах распаивалась череда дверей кремлёвской анфилады, мы видели спину уходящего Серго. В конце коридора звучал выстрел. “Обидчивый какой, гордец, всё принимает всерьёз”, — вздыхал Сталин, снимая телефонную трубку. Он звонил жене, теперь уже вдове Серго: “Мара, у тебя есть чёрное платье? Оно тебе понадобится, будем стоять в почётном карауле в Колонном зале”.

...В Колонном зале музыка, толпа приближенных, всеобщая скорбь. В гробу в цветах Серго. Сталину вдруг показалось, у покойника дрогнуло веко. Влоборота он тихо сказал: “Товарищ Поскрёбышев, мне неудобно отойти, такой момент. Пойдите рас-

порядитесь: мозг вынуть и сдать в музей революции. Светлейшего ума был человек”...

Или вот вам рассказ о Первомае в Киеве, где Параджанов прожил часть, вернее, начало творческой жизни. Подготовка торжеств. Поздний вечер. По фасаду тёмного правительственного дома на площади стальными тросами тащат вверх большого “двухспального” (слово Сержа) Карла Маркса, и следует захватывающее, полное иронии, зрелищное эссе о святом празднике пролетариата. По фасаду мрачного дома поднимается освещённый изнутри лифт, и люди бесследно исчезают в тёмном чреве пророка, некогда вызвавшего призрак коммунизма. Параджанову эта картина кажется символичной и крайне забавной, он снимает трубку и звонит в горком: “Посмотрите, какое комичное зрелище вы устроили у себя на фасаде. Маркс пожирает людей”. Те, естественно, в ужасе (прослушка работает круглосуточно.) А в довершение картины пустая, заливаемая дождём площадь, по которой ходит негр в белых штанах, приставляя к причинному месту и помахивая чёрным складным зонтом в футляре в сторону горкома. В стране царила вакханалия кастрированного сознания, и все так привыкли к идиотизму, фальши и лжи окружающей жизни, что практически не замечали абсурда, и только Параджанов был здоровым в этом больном обществе.

Таких рассказов было много. Я по памяти излагаю лишь канву повествования, на самом деле всё было насыщено литературным текстом, пронизано ритмом, объёмно, зрительно, стереоскопично. Я как-то раз воскликнул: “Да это же готовый сценарий!” Сергей Иосифович посмотрел на меня и сказал: “А ты что-то понимаешь”.

И лишь изредка, устав, наедине, оставшись без публики, он сбрасывал маску весельчака, балагура, шута, вруна и мифомана и говорил мне с отчаянием в голосе, с болью, на пределе: “Жизнь проходит. Я не могу без работы, я режиссёр, я должен всё время работать, снимать. Мне нужна каждодневная практика. Мою грудь распирают сценарии, замыслы, новые идеи, бумагами забит сундук, жизни не хватит, чтобы всё это разобрать, осмыслить, снять, а я в постыдном простом, без дела, у меня когда-нибудь разорвётся сердце от безысходности”.

Безработица вела к безденежью, особенно остро ощущаемому человеком, привыкшим жить на широкую ногу, держать открытый дом, принимать гостей. Когда Параджанов сидел без денег, Феллини узнал про это и выручил его. Прислал три своих

подписанных рисунка, часы Муссолини и дублёнку. Часики были так себе — маленькие, продолговатые, простенькие и затёртые, на узеньком кожаном ремешке, вроде стареньких дамских. (Из осторожности все говорили — “часы диктатора”).

“Как я объясню, кому продам, кто поверит, что от Муссолини?” — сокрушался Серж. По тем временам дублёнка была предметом роскоши. Её он подарил сыну Сурену, часы и рисунки продал. А через Тонино Гуэрру просил передать спасибо Феллини и прислать ещё штук тридцать листов чистой бумаги с подписью: “Рисунки уж как-нибудь сам нарисую”.

С дублёнкой был такой анекдот. В доме у него сидит местный крутой авторитет Джамал, богатый человек и хороший приятель Параджанова. Владелец особняка (это в те-то советские времена!). Как все грузины, широкий, хлебосольный и отзывчивый человек. Джамал всегда мне говорил при встрече: “Почему ты остановился в гостинице, а не у меня?” Я отвечал: “Прости, Джамал, не могу ночевать в музее, обстановка давит — картины и иконы со стен смотрят”.

Начал Серж издали: “Были тут москвичи, беседовали, мол, откуда у грузин такое стремление к показной роскоши, отсутствие меры во всём: ковры, картины, вазы, антиквариат, провинциальное мещанство так и прёт из всех углов”. И так пару раз по кругу. Джамал не выдерживает, молча поднимается и уходит. Доходит до середины двора. Серж кричит сверху с террасы: “Джамали, вернись, я больше не буду плохо говорить о грузинах”. Джамал не оборачиваясь уходит. На мой недоуменный взгляд Серж отвечает с обидой, почти по-детски: “Сильнее он меня обидеть не мог, — сказал, что дублёнка синтетическая”.

Звучит как анекдот. И тем не менее Параджанов не был ни провинциалом, ни обывателем, ни стяжателем, хотя вырос в мещанской среде. Красота в нём побеждала всё. Он любил красивых людей, мужчин, и женщин — отсюда у него состояние постоянной влюблённости, почти опьянение красотой, дающее ему творческую энергию. И если его восхищали красивые вещи, богатые дома, изыск женских нарядов, это было лишь восхищение красотой. Порой он относился к этому с лёгкой иронией. Он сам при мне как-то набросал одной даме эскиз платья, сказав: “Когда ты наконец вырастешь из джинсов?”

Серж умел балансировать на грани кича.. Он легко обходился без вещей первой необходимости, коль скоро мог их заменить предметами роскоши, которые у него становились предметами обихода. Но он, повторяю, не испытывал к вещам привязанности,

не делал из них фетиша и постоянно раздаривал. Когда кто-то рассказал с восторгом о необыкновенном коллекционере — женщине, забывшей дом дорогим хламом, безделушками и всякими ценностями без системы и разбора, Серж заметил: “Такое коллекционирование — лишь форма стяжательства”.

Параджанов-художник любил красивые вещи. Я тогда жил вне социума, вне устроенного быта и был довольно равнодушен к вещам. “Как ты не понимаешь! — горячился Сергей Иосифович, крутя в руках передо мной чашку. — Это вэджвуд (через “э” обратное!)” — Через паузу: “Из дома Манташевых!” Вообще он говорил по-русски правильно, без акцента. Лишь иногда проскальзывали южные интонации. Не употреблял в разговоре фени или мата ни для выражения эмоций, ни для связи слов, как это зачастую делают многие люди, считающие себя культурными и интеллигентными. Тюрма, лагерь почти не отразились на его лексике. И лишь изредка он называл действия своими словами — по-русски, без эквивоков.

В разговоре всё время — золото, камни, бриллианты. Однажды в комнате я, наступив ногой, почувствовал что-то твердое. Поднял, оказалось — огранённые камни, подал ему. Один рубин и два жёлто-прозрачных. Он тут же подарил их мне. Я в них ничего не понимал, и они у меня пропали, выдурили приятели. Как-то он достал из тайника громадный, тяжёлый, старинный булатный кинжал, с длинным тонким жалом на конце для вхождения в кольчугу. Подал мне. Я вынул его из серебряных ножен и взялся за оправленную драгоценными камнями рукоятку. “Осторожно, — выдохнул Параджанов, — не коснись”. Я не понял и лишь мгновенье спустя ощутил страшную остроту этой стали, её сокрушающую мощь: тронь, и она сама собой пойдёт, вонзится в плоть. И пусть не говорят, что секрет булата разгадан. В нём есть что-то мистическое, непостижимое, как в старых скрипках или в глубинах масляного слоя старинной живописи.

Любовь к вещам у него была наследственная, он очень гордился дедушкой-купцом, показывал мне грамоту первой или второй гильдии в рамке под стеклом на стене, и замечательные старинные фотографии в твёрдых паспорту. Однажды в комнате на первом этаже дома при мне стал развешивать их по стенам — старцы в мундирах, в усах с бакенбардами, с аксельбантами, в орденах. И говорит мне: “Это дедушка, это прадедушка, это прапра и пра...” и так далее до седьмого колена... Тут я, заворожено разглядывавший прекрасных старцев, очнулся от наваждения и сказал: “Сергей Иосифович, ваш дед купец, а они дворяне в

чинах, таких далёких предков вы не помните, да и не было тогда фотографии”. Он, слегка смутившись, ответил: “Понимаешь, они такие благообразные, такие достойные, такие красивые, они соответствуют мне, подходят по типу”. Чисто режиссерский подход. По видимому, это была бессознательная тоска по прошлому, по ушедшим бесчисленным поколениям, не оставившим зримого следа в истории.

Во дворе росло раскидистое ореховое дерево. “Это дерево посадил ваш дедушка”? — спросил я. “У моего дедушки было столько денег, что ему не надо было сажать ореховые деревья, — ответил он. — Дедушка привёз в Тбилиси целый таз денег и купил этот дом”.

В трудные времена творческого простоя знание предметов и вкус помогли Параджанову выжить. Он распродал старые запасы — купленные ещё в Киеве всякие платки, вазы, антиквариат. Помогал другим, торговал своеобразно. Он был вхож в богатые дома, и его художественному чутью и оценкам доверяли. Приходит при мне молодой армянин — кинооператор из Еревана. Денег нет, работы нет, сплошной простой, дети болеют, нужда. Вот семейная реликвия — ваза, помогите продать. “Сколько ты хочешь?” “Хотя бы 500 рублей”. “Оставь, приходи в это время завтра”. Приходит. Параджанов при мне вручает ему 2800 рублей. “Прости, больше за неё не дают, да и она того не стоит”.

Приходит молодой парень. Показывает какую-то икону. “Сколько ты за неё хочешь?” “Один человек мне давал за неё 500 рублей”. Параджанов вскакивает: “Где этот человек? Скорей беги, догони, продай, пока его не увезли в сумасшедший дом”. И таким историям нет числа.

Помню, сидит у Параджанова девяностолетний армянин, тощий и сухой как жердь, — Леван Бежанов. Серж, в разговоре, называл его почтительно “князь Леван” и говорил: “Раз вы пришли, значит, нет ветра, иначе бы вас унесло”. Князь Леван пришёл по серьёзным торговым делам, но начал издали: темпераментно, с юношеским задором рассказывал о том, какие они древние, эти армяне, они изобрели всё: начиная от лаваша и кирпичной кладки и кончая старой грузинской азбукой. Какие они были великие в древности и сколько среди них великих сейчас. Параджанов не страдал национальными комплексами, ему была свойственна ирония и самоирония по поводу всякого величия, и он сказал: “Князь Леван, чего вы сидите здесь, садитесь в автобус и езжайте в Ереван”. На что тот ответил: “Здесь моя родина, мы строили этот город”. Параджанов в награду за лекцию и пат-

риотизм подарил ему из своих запасов официальный, казённый портрет Микояна: масло, холст на подрамнике — такие раньше висели в учреждениях. Князь Леван не хотел брать, воспринимая подарок как тонкий подкол.

А нам Серж показал свою новую работу — “26 бакинских комиссаров”: пули, вколоченные в доску, а вокруг каждой фамилия комиссара. Только там, на фанерке, они и остались для истории. В Баку всех армян- комиссаров стерли с мраморных стел. Их как бы и не было. Не таков Параджанов. В фильме “Ашик Кериб” у него звучит азербайджанская речь. В “Тенях забытых предков” — украинская мова.

Мы часто бывали в мастерских художников, на просмотрах, на выставках. Сергей Иосифович не разбирал, не подвергал формальному анализу увиденные работы, но всегда давал краткую, ёмкую и точную оценку. Он не делал скидок и не щадил никого. Я приношу фотографии, если ему не нравится снимок или он на снимке, он тут же рвет его в клочья и выбрасывает. Если нравится, молча, с улыбкой любитесь им, затем достаёт большие ножницы и начинает вырезать из него узоры для коллажей, вклеивая своё лицо в чужие фигуры по нескольку раз. Если снимок очень нравился, начинал громко, на весь дом кричать: “Ты не мог это сделать — это гениально!” Свита пыталась меня утешить: не обижайтесь на его слова, гениальным может быть только он. Можно подумать, что я обижался!

Видимо, он воспринимал мои фотографии всерьёз, несмотря на их игровой характер. Это были фотографии без постановок, при естественном свете. В них не было потуг на художественность, не было изыска и красоты, которую так ценил Серж. Я никогда не думал увидеть их напечатанными, опубликованными. Както раз в Москве, просматривая свои проявленные плёнки, я вдруг увидел чужие сюжеты. Я ничего не мог понять, потом вспомнил, что когда мы бродили по городу, Сергей Иосифович, увидев что-нибудь интересное, кричал: “Сними, сними, это будет твой лучший кадр!” Я послушно снимал (ему хотелось чувствовать себя режиссёром и кем-то руководить). Отсюда и появились непонятные мне кадры, предметы на улице, натюрморты. Однажды, бродя по улице, мы захотели сфотографировать Сержа за прилавком, но торговец не пустил. Я пытался уговаривать, но Серж сказал: “Не надо, не уговаривай — у него нет чувства юмора”.

Думаю, у Параджанова, юмор исходил из глубочайшего ощущения трагизма собственной жизни, обрушивающей на него непрерывно удар за ударом.

Странно, что Сергей Параджанов, искромётный, открытый, безо всякой фанаберии, бьющий юмором, дружил с Андреем Тарковским, всегда серьёзным, сухим, застёгнутым на все пуговицы, лишенным чувства юмора и раздавленным комплексом собственной гениальности. У того и другого трагическая судьба. И того и другого преследовал режим. И тот и другой долгие годы находился в вынужденном простое. И того и другого сразил страшный недуг.

Как-то раз Параджанов предложил мне: “Пройди годовую стажировку на грузинском телевидении ассистентом оператора, и я возьму тебя постановщиком на картину”. Шанс осуществить невысказанную мечту детства. Заманчивое предложение, но я понимал, что операторское дело — сложное искусство и профессия, ими сходу не овладеешь. Требовалось специальное образование, большая, многолетняя практика на съёмочной площадке, полная отдача, а я был повязан многими обязательствами и делами, квартирной проблемой, заработком, бытом, семьей. С Параджановым работали настоящие художники, операторы мирового класса, асы профессии, понимающие его замысел с полуслова: Юрий Ильенко, Сурен Шахбазян, Юрий Клименко, Александр Антипенко, Алик Явурян — люди большого творческого потенциала.

Любимый племянник Параджанова Гарик (Георгий) Хачатуров, сын сестры Ани, как-то произнёс вслух на людях: “Не помешает ли мне фамилия дяди?”, — имея в виду его тюремные заслуги. “Единственное, что у тебя есть, — это дядя и его имя”, — ответили ему окружающие. Потом Гарик взял фамилию Параджанов-Анин. Им он подписывал свои сценарии.

Добрые начинания Сержа зачастую оборачивались против него самого. При поступлении Гарика в тбилисский театральный институт (руссоязычное кукольное отделение), Параджанов снял и подарил два старинных, драгоценных перстня членам или председателю приёмной комиссии. Всё бы ничего. Но тут самостийно пришёл сдавать экзамены другой армянин, и его по ошибке приняли вместо Гарика. Параджанову (как он мне сам сказал) пришлось дать ещё два перстня, блюдо и черно-бурую лису в придачу, чтобы приняли Гарика. Собственно говоря, приношения в Тбилиси скорее норма, чем исключение, но это стало поводом для очередного наезда на несломленного системой Сержа, кото-

рый вёл себя по-прежнему вызывающе и не сдерживался в высказываниях о власть имущих.

Безработный, но независимый Параджанов застрял как кость в горле у местной тбилисской власти. Нужен был новый повод и статья для наезда на Сержа. За “взятку” стали шить новую статью, и опять, вопреки советскому закону, тему разрабатывала не милиция, а тбилисский КГБ. Вспомнили поступление племянника в институт, вызвали на допрос, показали грамматические ошибки в сочинении четырёхлетней давности. Грозилась выгнать. Гарик был впервые на допросах. Давили, прессовали, угрожали отчислением. Сломался. Ему велели — пусть дядя даст одному человеку в долг 500 рублей для лечения больного ребёнка. Лучший предлог, зная чувствительность и отзывчивость Параджанова, придумать было трудно. Параджанов немалые деньги где-то занял, выручил, дал. А человек в штатском был следовательно, деньги взял, и Параджанов, пойманный на месте с поличным, опять попал под стражу. “Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей” — уголовная статья. Выражаясь теперешним языком, “подставили”. За что, почему? Человека, уже имеющего судимость, посадить просто. За него боролись всем миром — помогло. Главную роль сыграло письмо Беллы Ахмадулиной главе грузинской компартии и государства Эдуарду Шеварднадзе. Его осудили в очередной раз, но он легко отделался: несколько месяцев заключения под следствием и условный срок.

Сам шутник, ёрник и прикольник, Параджанов любил и чужие приколы. Цитировал с восхищением слова сестры Ани о себе: “Тоже мне режиссёр, держится так, как будто снял Клеопатру”. Юмор для него был выше личного.

Я как-то спросил Параджанова: “Как вас по-настоящему зовут? Не могли же вас в двадцатых годах назвать Сергеем да ещё Иосифовичем?” “Сурен Овсепович”, — выпалил он. Как впоследствии я выяснил, соврал не моргнув глазом. Но сына назвал Суреном.

Он очень любил свою семью, жену Светлану, сына Сурена, сестёр Аню, Рузанну, племянника Гарика. Однажды я застал у него приехавшего из Киева любимого сына Сурена. Сидел хорошо одетый, яркого восточного типа (хотя мать красавица-хохлушка) упитанный, холёный господин в строгом тёмном костюме при галстукe, сдержанный и серьёзный, как банковский клерк — полная противоположность эксцентричному Сержу. Лицом, пухлостью щёк, миндалевидностью глаз он напоминал принца с пер-

сидской миниатюры. Мы в затёртых, заношенных чёрных кожаных пиджаках (мода времени!), простых брюках и рубашках рядом с ним имели не то чтобы хипповый, но достаточно отвязный вид. Параджанов, приставив ладонь ко рту, сказал мне в сторону, как в театре: “Он архитектор, говорит мне, что разочаровался в профессии, а я думаю, просто не любит работать”. Ничего содержательного я из встречи с Суреном не вынес. На сыне гения природа отдохнула, он, на мой взгляд, толком ничего не создал и после смерти Сержа, быстро продал отцовский дом, который мог бы стать музеем-квартирой.

Зато Гарик, который жил рядом, в одном доме, по сути дела, заменил Параджанову сына, впитывая каждое его слово, манеру держаться, копируя даже треп и враньё, учась у него во всём — от написания сценариев и работы с актёрами до создания оригинальных коллажей. Из него ключом была энергия и искромётный талант. Я видел, как Гарик дома при людях разыгрывал простенький студенческий этюд. Параджанов прямо-таки сиял, видя творение собственных рук. Затем, уже вне поля моего зрения, Гарик в Москве сам поступил и закончил ВГИК — мастерскую Наумова (Параджанов уже ничем не мог помочь). Он проявил работоспособность и талант и, уже после смерти дяди, подарил миру достойные фамилии Параджанова сценарии (“Уродина”, 1995; “Все ушли”, 1997, Приз Тарковского; “Тамара”, 2000; “Роберт Шуман”, 2003) В 2005-м Гарик заново переписал сценарий “Все ушли”, создав своего рода Амаркорд и прозвучавшие на весь мир фильмы “Я Чайка” (2000, премия “Сталкер”), “Я умер в детстве” (2004, картина, которая закрывала Каннский фестиваль и получила восемь Гран-при), “Да будут дни наши длинными” (2005, участие в конкурсе Венецианского фестиваля) и наконец “Дети Адама” (2007). И создал целый ряд оригинальных коллажей, самостоятельных произведений искусства, несущих отпечаток его личности. Я упоминаю об этом вскользь, походя. Это особая тема, достойная отдельного серьёзного исследования.

Родители Сержа, несмотря на жизненные трудности, все силы отдавали на образование и воспитание детей. К ним ходила французская бонна — мадам Тазенгаузен, поражавшая воображение маленького Сержа громадной булавкой, протыкающей шляпу с причёской. Впечатлительному малышу казалось, что булавка проходит через голову мадам. Отец Сержа, после выхода из заключения, с каторги Беломорканала, перед войной купил детям концертный рояль у немецкого консула, продав для этого

этаж своего дома. Так мне сказал сам Сергей Иосифович. Не соврал. Этаж был действительно продан, и дети смогли получить достойное образование. Знали языки и музыку. Параджанов даже поступал в консерваторию.

С родственниками у него были постоянные дележи и ссоры. Безработный Параджанов от безденежья предложил сестре Ане разделить этот рояль на двоих. “Не можем же мы распилить рояль”, — ответила Аня. “Но можно разделить деньги после продажи рояля”, — сказал Серж. Это вызвало праведный гнев племянника Гарика, и Параджанов, не в силах противостоять напору силы и молодости, спласс от расправы бегством. Был товарищеский суд, превращенный присутствующими в балаган. Все, размахивая руками, переходили с русского на грузинский, темпераментно кричали, доказывая свою правоту. От Гарика пришли представители комсомольской организации, которые скромно помалкивали, да и он вёл себя достойно, больше молчал. Полный театрального пафоса, поднялся Параджанов, произнёс пламенную речь на грузинском и, указуя перстом на старых, прямых, как кипарисы, в чёрном трауре грузинских женщин-заседателей, сказал по-русски: “Я хотел бы, чтобы у меня были такие сёстры!” Потом состоялось примирение. Как истинный режиссёр, Параджанов грамотно выстроил мизансцену, развернув на зал милиционеров, судью, заседателей. Показательное рукопожатие с Аней и Гариком, за отсутствием кинокамеры, пришлось заменить фотосъёмкой. Снимал известный тифлисский фотограф Юра Мечитов, я был не готов и несколько раздавлен процессом, превращённым присутствующими в фарс.

Молодой грузин, участковый милиционер лет эдак двадцати трех, приехал на процесс на черной Волге, по сегодняшним дням — эквиваленте шестисотого “Мерседеса”. Милицейская профессия вещь очень доходная в пронизанном коррупцией Тбилиси. Москвич-журналист (коим я никогда не был) внушал ему лёгкое опасение: вдруг да напишет чего не то. После заседания суда участковый, делая страшные глаза, отвёл меня в сторону и сказал: “Представляешь, что он написал в заявлении, а я не дал ходу: “Чем жить с такими родственниками, я лучше сбегу в Турцию”! “Это метафизический парадокс, — сказал я участковому. — Невозможно армянину бежать в Турцию, где их поголовно истребляли. Бред, нереально”. “А срок можно схлопотать за такие слова вполне реальный”, — ответил он и пригласил всех нас, свидетелей, участников и зрителей процесса, в дорогой частный (это

тогда-то, при советах) ресторан “Греми”. Мы, разумеется, не пошли на милицейскую халяву.

Невыездной Параджанов бредил зарубежными поездками. Одно время он говорил мне, что уедет на год в Иран для съёмок фильма (как же, ждали его там!). Визионер, он представлял себе Иран большим собранием старинных персидских миниатюр. “Дайте мне два ковра, два верблюда, камеру и три человека в придачу, и я сниму фильм”, — повторял он. И снял бы — добавлю от себя!

После смерти зятя, Жоры Хачатурова, отношения Сержа с Аней значительно потеплели. Они стали общаться. Параджанова допустили на общую кухню. Исчез делёж и ссоры. Аня тут же отдала ему большую часть своего этажа дома. Серж с гордостью показал мне новую развеску своих работ на этой половине...

Как-то в минуты откровения Сергей Иосифович достал и стал читать мне письма сестры Рузанны советскому правительству с просьбой помиловать её нездорового и немолодого брата. Написанные прекрасным языком, пронизанные болью и отчаянием за здоровье и жизнь брата, они остались без ответа.

“Сергей Иосифович, — спросил я, — где старый Тифлис, где восточный колорит? Кажется, у Осипа Мандельштама я читал про караваны верблюдов, персов-погонщиков в пёстрых халатах и чалмах, с саблями на поясе. Было ли это? Или же привиделось поэту?” “А как же, всё было, помню как сейчас, меня пятилетнего мама ведёт в баню, а навстречу эти самые караваны — персы-погонщики, чалмы, сабли, пёстрые тюки, ковры на верблюдах, только мне не до того: я сквозь слезы почти ничего не вижу. Громадные, высокомерные верблюды идут, надменно задрав морды, и выдают мощную струю мочи. Я, им по колено, весь мокрый с ног до головы, плачу, а мама говорит: “Ничего, не плачь, всё равно ведь в баню идем”. В баню так в баню, но когда возвращаемся — та же картина только в обратном порядке. Навстречу те же верблюды, те же погонщики, те же струи мочи”.

Судьба на него обрушивалась не раз и не два. Ещё в первом браке его постигло горе: любимую жену-татарку убили родственники (толкнули под поезд) за брак с инверцем-армянином. За неё уже был получен калым от других людей.

Серж был глубоко верующим, взрослым крестился, вера укрепляла дух и позволяла выживать в кошмарных условиях. Но это был внутренний огонь его души, не демонстрируемый, не выставляемый напоказ, не обсуждаемый. (Лишь однажды при мне он отказал кому-то в крещении ребёнка, сказав: “Я не имею

к этому отношения”, — по-видимому, человеку иной конфессии.) Сколько народов исчезло с лица земли. Армяне сохранились в веках благодаря вере, став народом-церковью. Они сохранили генотип, язык и государство. Их не уничтожили ни волны нашествий, ни рассеяние по миру, ни турецкий геноцид.

Тифлис стоял на перекрёстке истории, здесь соединялся Восток и Запад. Тбилисцы — особый народ. Они впитали в себя многие культуры, сделав их составной и неотъемлемой частью собственной. Армянин Параджанов — тбилисец. Его искусство, питаемое родной почвой, стало частью мировой культуры и принадлежит всему человечеству. В нём не было ничего вторичного, богатство его души в корнях народа и почве, его породившей. В книгах он не нуждался. Корни его искусства, повторяю, не в книгах, а в зрительных образах — в окружающем мире, в архитектуре и фресках церквей, византийских эмалей, в персидских миниатюрах, живописи Возрождения, старинных иконах. Он прекрасно разбирался в украинском искусстве, народных песнях, сам чудно пел на украинском. Хорошо знал старинное зодчество — грузинское, армянское, старомосковское.

...Параджанов сидел на лестнице своего дома, когда во двор вошли журналисты из Франции. “Зачем вы приехали? Неужели за мной?” Он был польщён, приятно удивлён. “Вы действительно французы из Франции? Вы хотите забрать меня с собой?” Никуда он, конечно, не поехал. Не те времена. Но этот визит привлёк к нему внимание, был общественный резонанс, зарубежные публикации. Сверху, из метрополии, пошла негласная команда местным властям дать режиссёру хоть какое-то занятие. Сперва ему поручили редакторскую работу на студии, затем допустили к съёмкам уже запущенного фильма.

Перерыв в таком динамичном деле, как кино, губителен. Дважды не войти в ту же реку. Но он вошёл, преодолел разрыв времени, снял замечательный фильм, правда, для начала формально — в соавторстве. Творцу такой мощи соавтор оказался не нужен, фильм был авторский, чисто параджановский, все это поняли, увидев первые рабочие показы. Я присутствовал при разговоре. Кто-то из киногруппы сказал: “Додо переживает, что так получилось”. “Чего проще, — ответил Серж, — пусть снимет свое имя из титров и вернёт постановочные”. Но сам никогда прав не качал.

Фильм “Сурамская крепость” была его первой удачей после заключения, забвения и многих лет простоя. Оглушительная премьера прошла в Москве, в Доме кино. Последовало общественное признание.

Мне довелось побывать на съёмках “Сурамской крепости”. В работе обычные технические трудности во всём — от наличия плёнки до подбора костюмов. “Студия не может дать на съёмку даже заячью шапку. Мне костюмы XVII века дал из хранилища католикос”. Кто-то из группы наивно спросил: “А у католикоса есть жена”? “Нет ни жены, ни мужа, он монах”, — с грустью ответил Параджанов без всякого ерничанья.

На съёмках в горах, живя зимой в строительном вагончике безо всяких удобств, терпя мороз и бытовое неустройство, он показывал чудеса профессионализма. Во время подготовки операторская группа отдыхала в тепле, а он своими руками вместе с помощниками готовил пиротехнику, реквизит, декорации, костюмы: для него это был полноценный творческий акт. Затем вызывал оператора, кажется Юрия Клименко, и без проб, репетиций и дублей снимал эпизод. Студии “Грузия-фильм” и не снились такие темпы работы. Все картины, раскадровки, мизансцены снимаемого фильма были у него в голове, он снимал, не заглядывая в сценарий, импровизируя по ходу работы (во всяком случае, я так видел).

Надо добавить: новое положение, профессиональное признание, успех ничуть не изменили его отношение к окружающим. Ни малейшей тени превосходства, командных нот — общался со всеми равно, как с друзьями и знакомыми, так и со съёмочной группой.

На съёмку фильма привезли верблюдов из Азербайджана (в Грузии их не было). Тут Параджанов испытал сильное душевное потрясение: один верблюд ночью упал в яму и погиб. Остальные утром встали вокруг ямы и плакали, по их мордам катились крупные слёзы, их не могли увести от ямы погонщики-черкесы.

Примерно с 1988 года опалу с него сняли. Он в зрелом возрасте, на излёте жизни увидел зарубежье. Международные фестивали, эмоциональные встречи с коллегами, порой доходившие до драк, эпатаж окружающих, громогласное враньё, принимаемое западными журналистами на веру. Громадный успех и признание. Амстердам. Берлин, где ему вручили “Феликса”. Фестиваль в Венеции. Роттердам, где его чествовали в ряду двадцати лучших кинорежиссеров мира. Как было сказано, кинематографическую надежду XXI века... Наконец Америка, которая его не вдохновила, — он был чужд подавляющей человека машинной цивилизации. Затем Португалия. Фестиваль в Турции, где Параджанову вручили приз за вклад в мировое искусство. Председателем жюри был Никита Михалков.

Зарубежное признание, газетные интервью тешили его тщеславие, но глубин души не трогали. Он отказался от съёмок в

Голливуде, в Италии, в Германии. Душа его по-прежнему тяготела к сказочному Востоку. За признанием и поездками пришёл материальный успех. Появились крупные деньги. Он мог их тратить без оглядки. Накупал дорогой и, на мой взгляд, всякий бессмысленный и изысканный хлам. Помню, привёз какую-то охотничью куртку, расшитую золотом, — почти театральный реквизит, и размышлял, куда её деть. Кому подарить или продать? Как возвратившийся с победой триумфатор, он хотел всех одарить и швырял деньги и вещи налево и направо. Ненаглядному племяннику тут же купил квартиру в Тбилиси. Страсть одаривать окружающих была в нём неистребима. Так же, как и любовь к людям. Он жаждал жизни и жил жадно, стараясь успеть всё. Но времени для этого у него оставалось все меньше и меньше. Тюрьма и каторжный труд в зоне подорвали его здоровье. Тяжёлые болезни разрушали его тело.

Как-то, помню, мы с моим другом Ладо Алекси-Месхишвили посетили его в больнице на Пироговке. Алекси-Месхишвили — известный старинный грузинский род, давший миру много великих людей во многих областях, как в прошлом, так и в настоящем. Два брата — известный художник и сценограф Гоги (Георгий) и кардиохирург-педиатр профессор Ладо (Владимир) — друзья Сержа. Ладо постоянно посещал Сержа в больнице, следил за лечением, консультировал врачей, приносил лекарства и всё необходимое больному. Ладо выслушал и осмотрел больного, затем спросил: “Сергей Иосифович, скажите, где упаковка лекарств, которые я вчера принёс?” “Я подарил Тугуши”, — ответил Серж. “Как же так, редкое лекарство, его нет в стране, нигде не достать, я подписываю рецепт у главврача Бакулевского института, еду получать в кремлёвскую больницу... Чем вас теперь лечить?” Параджанов смущённо молчит, уводит разговор в сторону и пытается нас с Ладо угостить разными яствами. “Падишах” не мог обойтись без даров даже на смертном одре.

Несколько лет спустя (не помню, сколько) состоялась ещё одна, моя последняя встреча с Параджановым.

Был очень тяжёлый для меня день. В тот день я похоронил друга и с Ваганькова, не пойдя на поминки, поехал повидаться и попрощаться с Сергеем Иосифовичем.

Как сейчас помню эту встречу с ним в какой-то съёмной московской квартире на отшибе. Он приехал из Парижа, от Перельмана, уже сильно больной, отёчный, вялый. Меня не узнал (я всё равно не разбогател).

“Кто этот человек?” — спросил он у Ладо. “Баженов”, — ответил Ладо. “А-а-а!” Сознание начало понемногу проясняться. “Какой-то он совсем стал не такой — изменился очень”. (Ещё бы — прошли годы.) Сам он изменился ещё сильнее, но я ничего не сказал. Погас прежний пламень, исчез задор и кураж. Ему было очень плохо, даже на разговоры сил не хватало. Кроме всего прочего тяжёлая форма диабета. Ладо достал маленький шприц: “Где ваша история болезни?” “Забрал Тугуши, он поехал за ребёнком, чтобы напоследок показать ему меня”. “А при чём тут история болезни?” “Чтобы я не уехал до его возвращения”. “Очень убедительно: у нас билеты на самолёт на конкретное время, и я без истории болезни не знаю дозировки инсулина — сколько колоть. Положение критическое: Тугуши нет, может случиться диабетическая кома...” Но он уже плохо понимал ситуацию, почти терял сознание. Ладо вколол какую-то дозу инсулина. Через некоторое время Параджанову слегка полегчало.

Пришло вызванное такси. На самолёт Ладо купил два билета: Сержу и врачу-ассистенту, своему аспиранту, который должен был его сопровождать до дома, ни на минуту не оставляя без ухода и присмотра. Тугуши так и не появился. Уехали без него и без истории болезни. Машина мчала по Садовому кольцу. В такси Параджанов оживился. Узнавал московскую архитектуру: Казаков, Воронихин, Провиантские склады, давал краткий и точный анализ — знал предмет лучше меня, хотя я когда-то всё это “проходил” и “сдавал”.

Потом Домодедово, взлётное поле, холодный, колющий, метущий ветер с песком, адский рёв турбин — и самолёт уносит его вверх. Навсегда. Больше я его уже не видел.



Ара Балиозян

О ЖИЗНИ, О ЛИТЕРАТУРЕ

Перевод с английского А.Акопяна

Ара Балиозян – известный канадский писатель, критик и переводчик, автор около тридцати книг, многие из которых удостоены литературных премий. Его переводы произведений таких армянских классиков, как Григор Зограб, Забел Есян и Костан Зарьян, получили высокую оценку, названы “блестящим вкладом в мировую литературу”.

Предлагаемые миниатюры – первое знакомство читателей “Литературной Армении” с творчеством писателя, о котором Сароян когда-то сказал: “Я читаю все написанное Ара Балиозяном, с очарованием и благодарностью”.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Пятнадцать лет искал я ответ на вопрос, может ли человек из низших слоев общества (читай: с самого его дна), любящий читать, слушать музыку, совершать продолжительные прогулки (такое же неприбыльное занятие, как и предыдущие два), предаваться размышлениям (аналогично), может ли человек, любящий все это, но питающий отвращение к бизнесу и тому, что все называют “зарабатыванием на жизнь”, надеяться когда-либо избавиться от этой мышиной возни? Другими словами: может ли человек из трущоб, безразличный к деньгам, овладеть достаточным их количеством, чтобы избежать необходимости тяжелой или неприятной работы?

Следует уточнить, что хоть я и томился этим вопросом на экзистенциальном уровне, то есть в каждый конкретный момент своей жизни, я никогда не облакал его в такое количество слов – я не осмеливался.

Не осмеливался, потому что не считал это важным вопросом. В моем понимании, лишь поставленный и, таким образом, признанный выдающимся мыслителем вопрос мог быть важным.

Пятнадцать лет я терзался вопросом, который я гнал от себя как незначительный, потому что ни Платон, ни Толстой, ни коли на то пошло Будда, Томас Манн, Набоков или Витгенштейн им не задавались. Книги были мне опиумом, пока я не прочел Торо.

Я ценю Торо за его любовь к мелким банальным вещам — тому, что происходит с нами со всеми каждый день: ходьба, еда, выживание во враждебном мире, не роняя достоинства. Благодаря Торо я осознал, что предметы первой необходимости доступны при незначительных затратах. Эта мудрость лежит в основе независимости. Именно читая Торо, я задался этим важным вопросом: “А сколько денег мне действительно нужно?” Я составил список того, что мне нужно, и, к своему изумлению, обнаружил, что большинство пунктов списка были не необходимостью, а роскошью. (Что есть роскошь? Ответ: все, кроме хлеба и книг.) Также к своему удивлению, я осознал, что за эти пятнадцать лет накопил достаточно денег, чтобы быть финансово независимым. Пережитое тогда чувство возбуждения было схоже с описанным Мольером в “Мещанине во дворянстве”, когда г-н Журден вдруг обнаруживает, что всю жизнь изъяснялся прозой, сам того не зная. Это случилось пять лет назад, и в течение этих пяти лет я жил счастливо, как во сне, посвящая время чтению, музыке, размышлениям, прогулкам и иногда писательству.

Если хотите знать об этом больше, читайте Торо. Вам нужен именно он. Не Толстой или Витгенштейн, к которым проблема финансовой независимости не имела отношения. Чувствующие отвращение к своему собственному богатству, оба эти господина (как и Будда, еще один миллионер!) избрали добровольную бедность. Не нищету и лишения, что есть проклятие, а добровольную бедность — благодать и роскошь, которую *только* очень богатые могут себе позволить.

1976 г.

УЧИТЕЛЯ

Уильям Сароян научил меня использовать слова для передачи не других слов и идей, а себя самого.

Торо научил меня писать не о вымышленных существах и ситуациях, а о своей ежедневной борьбе и сомнениях.

Томас Манн научил меня никогда не стесняться открыть в себе то, что причиняет боль и заставляет смущаться, поскольку только лжец и глупец может представить себя образцом благородства и ожидать, что ему поверят.

Монтень подкрепил этот урок, напомнив мне, что действительно бесполезно вставать на ходули, ибо и на ходулях нужно передвигаться своими собственными ногами, и что на любом высочайшем троне мира я сижу не на чем ином, как на своем заду.

И.С.Бах научил меня, что ум, талант и даже гений ничего не стоят, если у тебя нет привычки терпеливо работать каждый день и находить в этом монотонном и лишенном приключений порядке источник радости и веселья.

Эйнштейн научил меня, что ставить перед собой цели достижения исключительно материального благополучия и счастья значит иметь амбиции свиньи.

Платон научил меня, что знание может прийти после долгих исследований в использовании слов, определений и образов, но не посредством их самих. Оно приходит через непосредственное проникновение в суть вещей.

Шарль Пеги научил меня, что писатель обязан иногда быть не по вкусу своему читателю.

Пауль Тиллих научил меня не путать одиночество с уединением: одиночество есть боль от того, что ты одинок, уединение — блаженство.

Св. Тереза Авильская научила меня никогда не подчинять свой ум кому-то, у кого у самого его не так много.

Гегель научил меня, что не обязательно быть рабом, чтобы жить и думать как раб, и что рабом является всякий, чьи действия служат продвижению интересов другого.

Симона Вейль научила меня, что свободу можно обрести только после того, как проживешь долго в состоянии полного и крайнего унижения, но унижения, которого пытался избежать любым допустимым способом.

Ганди научил меня, что истина приобретает значение, только когда она эмоционально воспринята и пережита, то есть приспособлена, преобразована и развита.

У меня было много других учителей: все, кого я встречал, научили меня чему-то, в том числе мимолетные знакомые, совершенно чужие люди и враги. Да, всего важнее *враги*.

Враги больше, чем друзья, потому что, отказываясь принять меня таким, какой я есть, они заставляют меня взглянуть на себя критически.

И если бы кто-либо спросил меня, почему же, имея таких прославленных учителей, я не смог никем стать, я бы ответил, что был слишком занят учебой и, хотя многому уже научился, я еще не начинал.

Нет, не у Сократа я научился этим словам, а у жизни... жизни — мудрейшего и строжайшего из учителей, неустанно напоминающего мне каждый день, что невежество — невиннейшее из всех преступлений и одновременно самым суровым образом наказуемое.

1976 г.

КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

Еще долго после того, как я посвятил все свое время писательству (то есть как минимум восемь часов в день шесть, иногда семь дней в неделю), я колебался, называть ли себя писателем. Но теперь, напечатав несколько статей и издав пару-тройку книг, я достаточно осмелел, чтобы назвать себя писателем, что само собой столкнуло меня с новыми трудностями. Недавно, например, некий госслужащий заинтересовался, кем я работаю.

- Писателем, — ответил я.
- Писателем? — переспросил он.
- Писателем, — повторил я.
- Что пишете?
- Всего понемногу.
- Статьи в газетах?
- И в журналах тоже.
- Пьесы?
- С полдюжины.
- Поставлены?
- На радио.
- Книги?
- Пока три, скоро выйдет еще одна.
- Как же тогда я о вас ничего не слышал?

По распространенному мнению, если писатель не знаменитость, о которой пишут в газетах, заядлый пьяница и автор бестселлеров, о нем можно спокойно забыть, как о безобидном шарлатане.

— Может, потому что я не пишу того, что вы любите читать, — пытаюсь я объяснить, не сумев убедить его.

— Так чем ты, говоришь, занимаешься? — спрашивает старый друг, которого я не видел несколько лет. Мы на свадьбе, и он уже выпил более чем достаточно, как и я.

— Я писатель, — отвечаю.

— Блеск, писатель! Ты наверняка зарабатываешь много денег.

— Боюсь, что не много.

— Черт побери, уж точно больше, чем я.

— Я очень сомневаюсь.

— Да ты шутишь!

— Ты действительно хочешь знать, сколько я заработал в прошлом году?

— Сколько?

— Меньше тысячи долларов.

— За неделю?

— За год!

— Да ну нет!

— Я знаю писателей, которые даже *так* много не зарабатывают.

— Не может быть.

— Некоторые даже теряют деньги.

— Как это так?

— Траты на печать, почтовые расходы, ленты для печатной машинки, ее ремонт, канцтовары.

— Я уверен, что знаю, в чем их проблема, — говорит он мне.

— Знаешь?

— Они не пишут того, что люди хотят читать.

— То есть?

— Триллеры и порнографию. А что *ты* пишешь?

— Все, *кроме* этого!

— Вот видишь?!

Он чувствует себя замечательно — не только утвердил свое превосходство надо мной, но и решил все мои финансовые проблемы.

— Вы пишете на английском или на армянском? — спрашивает меня чрезмерно любопытный старик, когда ему сказали, что я писатель.

— На английском, — отвечаю я.

— Вы ведь армянин, не так ли? — настаивает он.

— Без сомнения.

— Тогда вы должны писать на армянском.

— Я писал — какое-то время.
— Почему же перестали?
— Это никому не было интересно.
— Так со всеми писателями бывает.
— К тому же на этом ничего не заработаешь.
— Деньги не все. Как писатель, вы должны это знать лучше, чем кто-либо.

— Я знаю. Собственно говоря, деньги — *ничто*, если, конечно, у вас есть иные источники дохода. Но, понимаете, я не принадлежу к привилегированному классу. Я должен работать, чтобы жить...

— Как и остальное человечество.

— И, уверяю вас, я работал несколько лет — на заводах, в универсальных магазинах, страховых компаниях — до тех пор, пока не понял, что если писатель хоть немного уважает свою профессию, он должен посвящать ей все свое время.

— Я знал многих великих писателей, которые работали и писали в свободное время: Нардуни был врачом, Шахнур фотографом, Ошакан учителем...

— Я не сомневаюсь, что все они могли бы быть еще лучшими писателями, если бы решили посвятить все свое время писательству. Не согласны?

— Может быть, вы и правы. Но факт остается фактом: мы живем не в утопическом мире.

— Я этого и не утверждал.

— Но ваши требования утопичны.

— Да перестаньте. Мусорщику платят за его работу, как и сантехнику, почему же, когда речь заходит о писателях, мы считаем их запросы утопическими?

— Послушайте, друг мой, не я придумал эти правила. Если бы это зависело от меня...

— Пожалуйста, не надо объяснений. Я понимаю. Вы пытались доказать свою позицию, я свою.

— Я пытался доказать, что пока вы пишете на английском, вас никогда не запомнят как армянского писателя и вы никогда не будете частью армянской литературы.

Почему каждый раз, как я вспоминаю этот разговор, я чувствую себя слегка униженным и отвергнутым?

ДВА СЛОВА О САРОЯНЕ

Армянский журнал, в котором Уильям Сароян начал публиковать свои юношеские рассказы, хвалился на своих страницах тем, что Сароян никогда не просил денег и ни разу не получил ни цента за свои произведения, подразумевая тем самым (возможно, без умысла), что, если бы это зависело от них, Сароян бы, очень вероятно, умер с голода. Когда он начал писать, Сароян не был финансово независимым. В большинстве рассказов этого периода говорится о нужде и голоде. Сароян выжил и умер миллионером, потому что его талант был легкодоступен среднему американскому читателю. Были и другие, менее удачливые, чем Сароян, которых игнорировали и, таким образом, заставляли молчать так же эффективно, как Чаренца и Бакунца при Сталине, просто потому что их стиль и мировоззрение не были легкодоступны широкой публике. В России избавляются от писателей-диссидентов. В Америке игнорируют *непопулярных* писателей. Результат одинаков. Для настоящего художника служить вкусам американской публики может быть так же невыносимо, как и служить Кремлю. Художник должен служить только Богу (если в Него верит) или Истине (если не верит). В тот момент, когда он решит служить какой-то определенной аудитории или политической партии, он деградирует и становится шоуменом, пропагандистом, клоуном. И когда это случается, даже публика, которую он решил развлекать, будет его игнорировать. Не это ли произошло с Тиграном Куюмджяном (Майклом Арленом)? И не это ли было причиной постепенного упадка Сарояна как писателя?

1982 г.



Саануш Базян

ВОИН, ПЕВЕЦ, ПЕРЕВОДЧИК

Три великих романа Льва Толстого уже в начале XX в. стали достоянием армянского читателя благодаря их переводу сначала на западноармянский, а позже на восточноармянский язык. Почву для перевода романов Толстого западными армянами подготовили богатые в этой ветви армянской литературы традиции перевода всемирной классической прозы, в особенности французской.

В 1910-11 гг. выходит в свет “Воскресение” в трех томах в переводах — Глануни и Малхасяна (I, II тт.) и писателя-демократа, мастера злободневной художественной сатиры Ерванда Отяна (III т.). Известен также отяновский перевод романа “Анна Каренина”, выполненный с французского языка и изданный сначала в Константинополе в 1911 г., а затем в 1950 г. в Ереване, в десятитомнике сочинений Толстого. А Эдуард Амадуни издал “Войну и мир” в шести томах и перевел его с русского языка.

В Восточной же, а позже в Советской Армении переводы “Войны и мира” (Ст.Зорьян) и “Анны Карениной” (Ваан Тер-Аракелян) появились только в 1935-1936 гг. До середины 30-х гг. из крупных произведений Толстого были переведены “Воскресение”, “Детство” и “Отрочество” (Перч Прошян). Это довольно интересное обстоятельство могло быть следствием не только определенных традиций перевода, но и разных оттенков отношения к Толстому в двух ветвях армянской литературы. Западноармянские деятели, воспитанные на лучших традициях английской и французской классической литературы (Диккенса, Гюго, Бальзака, Флобера), в первую очередь оценили Толстого как мастера крупного полотна, широко охватившего все явления русской жизни своей эпохи, и большее внимание уделили переводу его романов.

“Анна Каренина” в переводе Ваана Тер-Аракеляна вошла в шеститомник избранных сочинений Толстого (Ер., 1935-1940 гг.).

Она была издана в 2-х томах в 1936 г. с предисловием Арутюна Сурхатяна. И Ваан Тер-Аракелян, и Арутюн Сурхатян были репрессированы в конце 1936-1937 гг. По этой причине перевод В.Тер-Аракеляна уже не вошел в десяти томник Толстого (1948-1950 гг.), составителем и редактором которого явился Ст.Зорьян. Роман был представлен в переводе Ер.Отяна. А запрещенный перевод “Анны Карениной” репрессированного переводчика В.Тер-Аракеляна был переиздан только в 1957 г., а затем в 1979 г. в двух томах. Сегодня, когда запрет снят, на столе лежит книга о В.Тер-Аракеляне, вобравшая в себя материалы из фондов Музея литературы и искусства им. Чаренца.

Ваан Тер-Аракелян один из тех армянских деятелей, личность которого может служить примером для многих поколений армян, воспитанных на национальных традициях своих дедов и прадедов. Известный военный деятель, талантливый писатель и переводчик, он был также прекрасным певцом. Своей впечатляющей внешностью и благородными манерами этот незаурядный человек, статный, с орлиным взором удивительно красивых миндалевидных черных глаз, завораживал своим обаянием даже врагов и всегда выходил победителем из любых трудных ситуаций.

Из оставленного им немало литературного наследия (военные заметки-воспоминания, статьи, проза, поэзия и переводы) перед нами предстает уникальный образ широкообразованного человека, армянского интеллигента и военного деятеля, отличающегося большим патриотизмом, гибкостью и остротой ума, мужеством и беспримерной храбростью. Большую историческую ценность представляют его заметки — воспоминания о военно-политических событиях 1910 г., развернувшихся в Западной Армении, участником которых он был.

Ваан Тер-Аракелян родился в 1883 г. (по некоторым сведениям в 1886 г.) в Даралагязе (ныне село Малишка в Вайоц Дзоре) в семье священника. Первоначальное образование получил в сельской начальной школе, а затем учился у одного именитого учителя в селе Знаберд. В 1901 г. он поступил в Геворкянскую духовную семинарию в Эчмиадзине, где преподавал сам великий Комитас. Обладая красивым бархатным тенором, Ваан стал исполнять песни Комитаса и вскоре сделался его любимым учеником. Он пел удивительно проникновенно, демонстрируя навыки исполнителя, тонко чувствующего музыку. По воспоминаниям современников, высокие ноты он брал фальцетом, что встречается нечасто. Видя превосходные способности Ваана, Комитас настоял на продолжении его учебы в консерватории и отправил

его в 1909 г. учиться в Петербург. Здесь он получил специальное консерваторское образование. Одновременно он был вольнослушателем на филологическом факультете университета.

Высокое мастерство певца, солирующего в хоре Комитаса, в большом хоре, состоящем из 86 человек, привело Ваана Тер-Аракеляна на подмостки Мариинского театра, а также в церковный хор армянской церкви в Петербурге. Привело в ту самую церковь, где в 1910 г. отпевали после смерти отлученного от русской церкви Льва Толстого. То было своего рода духовное приобщение к измученной душе Толстого через священное песнопение.

Не закончив еще учебы в консерватории, Ваан Тер-Аракелян был призван в армию и отправлен на офицерские курсы. Окончив их, он получил звание унтер-офицера. Во время Первой мировой войны он воевал на разных фронтах: на Западном (1914-1915 гг.), на Кавказском (1915-1917 гг.) и дослужился до звания полковника. Храбрость, мужество и мудрость одного из самых обаятельных командиров были вознаграждены многочисленными наградами — орденами и медалями. Своим святым долгом он посчитал участие в самом решающем для армянского народа сражении — Сардарapatской битве. Иначе и не могло быть. Комитас и его песни воспитывали патриотические чувства певца-воина. Он был предан своему народу и много сил отдал борьбе за его освобождение.

С образованием Первой Армянской Республики Ваан Тер-Аракелян был назначен начальником штаба по линии фронта в городе Карс. В ту пору комендантом Карсской крепости был герой Сардарapatской битвы Даниел Бек-Пирумян.

В 1920 г. Турция при попустительстве большевистской России напала на Армению, чтобы стереть с лица земли Восточную Армению, набив уже руку на уничтожении более 1,5 миллионов армян в Западной Армении. Предательство большевиков привело к падению Карса, и 150 офицеров русской армии попали в плен. Среди пленных были Ваан Тер-Аракелян и Даниел Бек-Пирумян. Только через год 74 выжившим офицерам удалось вырваться на волю и вернуться на родину. Судьба распорядилась так, что Ваану Тер-Аракеляну сохранили жизнь, и в 1921 г. он переехал в Тифлис. Жил и работал он в Тифлисе, сотрудничая в газетах “Мартакоч” (“Боевой клич”) и “Пролетар”. Здесь он проявил себя как поэт и писатель, автор интересной прозы и лирических стихов. Его перу принадлежит так же ряд статей по истории музыки, литературы и театра. Как очень талантливый человек, он отличался широтой интересов и проявил себя во многих сферах

человеческой деятельности: общественно-политической, литературной, театрально-оперной, музыкально-исполнительской.

В активе переводчика В.Тер-Аракеляна, помимо “Анны Карениной”, “Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны” Ярослава Гашека, поэтические переводы из А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, С.Есенина, Вл.Маяковского и др. При этом он продолжал свою концертную деятельность, выступал в Ереване, Тифлисе, Москве и Германии. Одновременно пел в хоре Ереванской консерватории под управлением Спиридона Меликяна. Его исполнительским мастерством восхищались великие Егисе Чаренц и Мартирос Сарьян. По образному выражению его современника, когда Ваан пел, “голос его прорывался сквозь стены зала и долетал до высот Алагяза и Арарата, до берегов Аракса и Зангу”.

Трагической была судьба Ваана Тер-Аракеляна. Он, как и многие гениальные и талантливые люди того времени, попал в мясорубку сталинских репрессий.

В один из мрачных осенних дней 1936 г. в Тифлисе его арестовали, и весной 1937 г. сослали в далекий край Коми АССР, в город Ухту. Тщетно через кого-то он пытался передать Чаренцу свой зов о помощи, не ведая о том, что самого поэта постигла та же горькая участь. Могучий духом человек, выживший в турецком плену, Ваан не вынес кошмара сталинских лагерей, заболел чахоткой и умер 2 мая 1941 г.

Так закончилась жизнь одной из самых ярких личностей, лучшего из лучших сынов армянского народа Ваана Тер-Аракеляна, достойного быть увенчанным лаврами и как победитель военных сражений, и как блестящий музыкант-певец, и как замечательный писатель и переводчик.

Много позже репрессированный Ваан Тер-Аракелян был реабилитирован. Его родным с большим трудом удалось перевезти на родину и в 1960 г. предать земле на центральном ереванском кладбище его останки.

Хотелось бы дополнить портрет писателя, певца и патриота историей, записанной со слов самого Ваана Тер-Аракеляна.

37-летнего офицера русской армии В.Тер-Аракеляна отправили гонцом в стан врагов.

Твердой поступью с оружием в руках шел он к военному штабу турок, гордо подняв голову.

Не впервые было ему идти на переговоры к врагу. Но сейчас он шел к ним в тыл в дни, когда пал близкий его сердцу Карс.

Он верил в благополучный исход дела. Однако слишком рискованной и сложной была его задача. Чрезвычайно хрупки и сомнительны были возможности примирения с турками, предпочитавшими решать все свои вопросы мечом.

Штаб был уже совсем близко, и тревога в его сердце усилилась. Он остановился, ожидая, что его пригласят войти. Но этого не произошло.

— Вы посланник? — незаметно подкравшись сзади, грубо окликнули его. — Сдайте оружие.

Он хорошо знал цену коварству и вероломству турок, однако еще не представлял, что его ждет впереди. Он безмолвно сдал оружие, и неприятельские солдаты вмиг окружили его.

Стало ясно: турки взяли его в плен и ведут на расстрел. Тщетно пытался он объяснить им, что пришел с добрыми намерениями. На него даже не взглянули.

— Тебе дается право высказать последнее желание, — равнодушно бросил турецкий офицер, одновременно приказав солдатам приготовиться к расстрелу.

Наступил тяжелейший момент. Но что он мог сказать? Он знал: ничто не смягчит сердца турок и не поколеблет их решимость убить его.

— Я хотел бы спеть песню, — к удивлению врагов вдруг сказал он.

— Пой, — коротко бросил офицер.

Перед ним возвышался огромный утес, под ногами зияла глубокая пропасть... И он запел. Пел он "Дле яман". Он пел так, как поют в последний раз. Никогда больше голос его не был таким проникновенным. Его песня, шедшая из самых недр его души, перевернула сердца слушателей. И произошло чудо. Турецкие солдаты, ошеломленные и замороженные его песней, невольно опустили винтовки. Офицер же, прослезившись, подошел к нему, положил руку на плечо и сказал:

— Такой голос и такую песню нельзя убивать. Ты свободен.



Игорь Лайзан

ТРИ ДОМА АЛЕКСАНДРА ГЕРОНЯНА

Казалось, он всегда жил среди “своих”, начиная с родного Баку, где в Завокзальном районе традиционно селились армяне. Собственно, в школьные годы он никогда не задумывался над тем, кто свои, а кто чужие. Русский язык для него и сестер всегда был родным. И когда у родителей были секреты от детей, они переходили на армянский, которым русская мама Александра хорошо владела. Да и что тут удивительного: армянский язык в этом городе был так же в ходу, как и русский с азербайджанским.

Впрочем, языки “аборигенов” в Баку не многих прельщали: они считались непрестижными, таким тормозом в развитии. Русский — это да, это язык великого народа, великой культуры. За ним Москва, сильная власть. Это дорога в большой мир. Словом, молодежь в языковом плане сделала свой выбор.

О своих корнях Александр стал задумываться гораздо позже. А в школьные годы его вполне устраивала распространенная в городе формулировка “Национальность — бакинец”, которая как бы заменяла собой пятый пункт в паспорте.

— Армянский язык стал сдавать свои позиции в Баку уже на рубеже 50–60-х годов, рассказывает А.Геронян. — Стали закрываться армянские школы, армянский театр... Никакого давления сверху не было. Просто бакинские армяне в большинстве своем были равнодушны к своему происхождению. Вся армянская “программа” состояла в соблюдении традиций — крестины в церкви, шашлык и застолье с армянским колоритом, свадьбы “по нашим обычаям”... Преобладал карабахский диалект армянского языка. И если разговорным языком худо-бедно владели, то вот

грамоте мало кто был обучен. А армянская молодежь вообще предпочитала обходиться разве что популярными обращениями и идиоматическими выражениями: матах, ара, цавэт танем... Ну и за “Арарат” болели, само собой разумеется...

Армянским он овладел уже в зрелом возрасте, когда переехал в Ереван. Но это было позже. А в детские годы он знал всего пару десятков слов и фраз. И все. Русская половинка его души брала верх.

В то же время маленький Саша с интересом слушал трагическую историю о мальчике Гикоре, которого родители послали в поисках заработка из деревни в город. Этот известный туманяновский рассказ ему часто читал вслух отец. Потом сам он не раз перечитывал. Мальчик еще ничего не знал о геноциде 1915 года, о полной драматизма истории армянского народа. Его окружало симпатичное безрассудство и неугомонное веселье обитателей Завокзального, с их вечными шутками, безудержным смехом... Его “малая родина” жила беззаботной жизнью. Только вот самих армян становилось там, как и во всем Баку, все меньше и меньше. А в январе 1990 года их вообще не стало. В его родном доме по улице Спандаряна, 75 живут уже совсем другие люди.

— Нет, я гордился, конечно, известными армянами, моим кумиром был Эдуард Маркаров. В шахматах болел за Тиграна Петросяна. С удовольствием слушал песни Жана Татляна. Очень переживал, когда узнал, что гора Арарат, этот самый что ни на есть символ армянства, находится не в СССР, а в Турции, — вспоминает Александр. — А что творилось в нашем Дворце культуры завода имени лейтенанта Шмидта, когда там состоялась премьера фильма про неуловимых мстителей! Зал просто взрывался аплодисментами, когда появлялись титры с известными именами: Эдмонд Кеосаян, Армен Джигарханян, Лаура Геворкян, Артем Карапетян, Раймонд Джаноян... Фантастика!

Да, вот такой не очень осмысленный патриотизм.

Уже в студенческие годы дядя Завен, старший брат отца, подарил ему пожелтевший от времени номер журнала “Армянский вестник” за 1916 год. Там среди награжденных в боях с турками значился и брат дедушки Аршака, прапорщик (тогда это было офицерское звание) Вагаршак Геронянц. Герой, как тут не гордиться! Этот журнал Александр хранит как семейную реликвию.

Позднее он узнал, что происходит из уважаемого старинного рода. Героняны были дворянского происхождения, в конце XIX — начале XX столетия владели ювелирными мастерскими и мага-

зинами в Баку. А его прабабушка, мать дедушки Аршака Тагуи Алабова (Алабян) приходилась родной тетей двум знаменитостям — поэту Велимиру Хлебникову и архитектору Каро Алабяну. Этими открытиями он обязан своей ереванской родственнице — известному телережиссеру Эльмире Абрамовне Экекян. Это она по крупицам собирает историю их рода. Это она, также родившаяся и выросшая в Баку, пригласила племянника в Армению, чтобы он окончательно обрел свои корни. Свой истинный дом.

С 1978 года, после окончания университета, Александр Геронян жил и работал в Ереване. Карьера складывалась успешно, он считался ведущим журналистом молодежной газеты “Комсомолец”. Часто публиковался во всесоюзной печати. Но наверное не только в этом главное. Именно за эти шесть лет, прожитые в Армении, он понял, как глубоко в нем поселился армянский дух.

На родине предков он не все смог понять и принять. Непривычно было наблюдать, как после Баку, этого плавильного котла народов, все кругом говорили по-армянски и принадлежали в основном к одной национальности — титульной. Все были и внешне слегка похожи, и в поведении людей было много общего. В то же время хватало ярких и неординарных личностей. Ну а в целом Армения мало чем отличалась от Азербайджана. Та же партноменклатура у кормушки власти, те же взяточники и цеховики, многие вопросы решались по звонку, процветало кумовство и клановость. Да и культура могла быть повыше. Успокаивало одно — не было ущемления в национальном вопросе, кругом одни армяне...

По семейным обстоятельствам Александр Геронян уехал из Армении, и с 1986 года его судьба связана с Латвией. Рига стала его третьим домом. Именно здесь в полной мере раскрылся его писательский и издательский талант. Именно вдали от Армении он по-настоящему “заболел” Арменией.

В 1988 году, когда стали формироваться национально-культурные организации, он был в числе тех, кто создал Латвийско-армянское общество, возглавлял пресс-центр ЛАО, был членом правления, потом заместителем председателя общества. Особо высовываться не любил, не занимался саморекламой, как некоторые. Просто делал свое дело: постоянно писал в рижские газеты про мероприятия ЛАО, посылал материалы в Ереван. А когда появлялась возможность поехать на очередной всеармянский слет, без раздумья и с радостью соглашался. А.Геронян был в числе делегатов Первого всеармянского съезда внутреннего спюрка, который состоялся в марте 1989 года в Симферополе.

Потом были Москва, Ереван, Дилижан, снова Москва, Вильнюс, снова Ереван...

— Последний раз я был в Армении в 1992 году, — говорит А.Геронян. — Наши предприниматели собрали пять миллионов рублей для детей-сирот, чьи родители погибли в карабахской войне. На эти деньги шестьдесят мальчиков и девочек целый месяц отдыхали в одном из пансионатов Севана. Для меня участвовать в такой благородной акции было делом чести. Деньги мы с товарищем доставили до места. И хотя на обратном пути я трое суток просидел в аэропорту Минвод, где приземлился наш самолет из-за нехватки топлива, домой вернулся довольным. Прежде я помогал Родине только словом, а сейчас и делом. Впрочем, одно не мешает другому.

Он инициатор установки в Риге, в престижном месте Старого города, хачкара. Торжественное открытие этого памятника состоялось 24 апреля 1990 года, в память 75-й годовщины геноцида армян, а также в знак благодарности народу Латвии, который оказал большую помощь Армении в ликвидации последствий Спитакского землетрясения. Теперь рядом с хачкаром вырос целый сквер.

Еще он рад, что армянская кухня в Латвии одна из самых популярных. В столице и на взморье действует больше двадцати пяти армянских кафе и ресторанов: “Эребуни”, “Ноян тапан”, “Ереван”, “Ахтамар”, “Арагат”, “Ани”, “Арагац”... Спокойные, флегматичные латыши, национальное блюдо которых серый горох, приправленный копченостями, по достоинству оценили кулинарные изыски армянской кухни и охотно посещают эти “точки питания”.

Ну и, конечно, А.Геронян гордится тем, что у рижских армян есть свой второй Дом — армянская церковь Святого Григория Просветителя. Тоже в престижном районе — на Краста (Набережная), рядом с дорогами автосалонами и супермаркетами. Он старается не пропускать ни одной воскресной службы. И церковные праздники, разумеется, тоже. С первым настоятелем церкви Тер-Маркосом и его преемником Тер-Хосровом сложились хорошие отношения, доверительные и товарищеские. Ведь они одно общее дело делают — достойно представляют армянскую культуру, в Латвии.

В апреле 1991 года Александр выпустил первый номер газеты “Арагат”. Увы, дальше издание ее застопорилось. Все пришлось делать одному — и материалы собирать, и редактировать тексты, и макет составлять. Но самым тяжелым оказалось реализовать

газету. Читали ее от корки до корки в разных уголках Союза. А вот оплатить номер в срок забывали. Так тянулось месяц за месяцем. Двадцатитысячный тираж окупил себя. Но выпуск газеты пришлось приостановить. И только в сентябре 2002 года Геронян возобновил ежемесячный выпуск “Арарата”. Газету теперь регулярно читают не только в Латвии, но и в соседних странах — России, Эстонии, Литве, Белоруссии. Не так давно газета “Арарат” и ее редактор-издатель были награждены дипломом Ереванского Пресс-клуба “За пропаганду Армении и армянской культуры в спюрке”.

С 1998 года он сотрудничает с популярной в диаспоре русскоязычной газетой “Ноев ковчег”, которая выходит в Москве. Сейчас А.Геронян ее собственный корреспондент и распространитель в Латвии. Еще он печатается в издающемся в Минске историко-культурологическом журнале “Анив” (“Колесо”).

Особо стоит сказать о его издательской деятельности. За эти годы Александр Геронян выпустил добрую дюжину книг об Армении: поэтический сборник “Венок стране Наири” (по страницам журнала “Литературная Армения”), сборник лучших армянских рассказов XX века “Самая теплая страна”, “Краткую иллюстрированную историю Армении”, армяно-латышский разговорник, публицистический сборник “1915”, сборник избранных произведений прозаиков и поэтов спюрка “Лондонский “Англо-армянский клуб”, книги “Причал для ковчега, или 15 путешествий к Арарату”, “Дети спюрка”. Последняя его работа — томик избранных произведений Уильяма Сарояна на латышском языке — к столетнему юбилею писателя. Мало кто в спюрке может похвастаться таким послужным списком.

— Все мои проекты носят некоммерческий характер, — говорит А.Геронян. — Раздаем книжки бесплатно. Спасибо спонсорам! Прекрасно отдаю себе отчет в том, что делаю. На такой литературе не заработаешь. Но тем не менее я с головой ушел в эту работу. Зарабатываю я на других издательских проектах. А армянская тематика лишь для того, чтобы пропагандировать Армению в странах Балтии. Чем я занимался, занимаюсь и буду заниматься впредь. Это у меня в крови.

У Александра растет сын-школьник. Ален уже побывал в Армении на летних каникулах и влюбился в эту страну. Уже опубликовал свои путевые заметки в одной из папиных газет. А может, и по стопам отца пойдет?



●

Сдано в набор 10.09.2009. Подписано к печати 22.10.2009.
Формат 84x108 1/36. Офсетная печать.
Бумага типографская № 1. Печ. л. 12.
Заказ № 35. Регистрационный номер 43.

Адрес редакции:
375019, Ереван, пр. Баграмяна, 3.
Телефоны: 56-35-57, 56-36-66, 56-35-58.

Отпечатано в типографии ООО “ЗАНГАК-97”

●